

*Протоиерей
Дмитрий Шишкин*

НЕГАСИМЫЙ СВЕТ



Димитрий Шишкин

**Негасимый свет.
Рассказы и очерки**

«Издательство Сретенского Монастыря»

УДК 821.161.1-322.2Шишкин
ББК 84(2=411.2)6-44

Шишкин Д.

Негасимый свет. Рассказы и очерки / Д. Шишкин —
«Издательство Сретенского Монастыря»,

ISBN 978-5-7533-1460-4

В этой книге собраны рассказы и очерки, написанные автором в разные годы. Протоиерей Дмитрий искренне и глубоко рассказывает о своих духовных исканиях, о неутолимой жажде Бога, которая с самого детства побуждала его во всем находить отблески Божественной красоты. Он позволяет читателю заглянуть в потаенные уголки своего сердца, начиная от светлых детских озарений и заканчивая духовными переживаниями уже зрелого человека, облеченного в священный сан. Книга адресована не только православным читателям, но и всем, кому небезразличны вопросы веры и смысла жизни. Для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1-322.2Шишкин

ББК 84(2=411.2)6-44

ISBN 978-5-7533-1460-4

© Шишкин Д.
© Издательство Сретенского
Монастыря

Содержание

Вспоминая детство	6
Сотера	7
Первый крест	12
Быть чадцами	14
Оптина	16
Первые впечатления	17
Игумен Феодор	20
В храме Казанской иконы Божией Матери	23
По дороге в скит	24
В лес за грибами	25
Об одном замечательном человеке	27
«Высокие гости»	29
«Рецидивист»	31
Наши страхования	33
Полунощницы	35
Отец Феофил	37
Батюшка Илий	41
Послушник Стефан	43
Корабль спасения	46
Взлеты, падения и покаяние	47
«Благодарите старца Амвросия!»	49
Еще об отце Илии	51
Крымские очерки	55
Возвращение красоты	56
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Протоиерей Дмитрий Шишкин

Негасимый свет



Вспоминая детство



Сотера



Как же я в детстве мечтал попасть в пионерский лагерь! Почти как в Москву, но все не получалось. А вот старший брат побывал, и это было темой для бесконечных с его стороны рассказов, а с моей – очарованных слушаний с краткими, торопливо уточняющими картину вопросами. Пионерский лагерь – вы шутите! – это же мечта, сказка...

Как сейчас помню свежесть летнего утра, широкую площадь, где Ленин, протянув руку с невидимой удочкой и напряженно вглядываясь в поплавок, ловит рыбу. Удочку ему обломали, должно быть, оппортунисты – только рукоять осталась в сжатой нервно ладони, – но утро такое славное, что Ленин совсем не злится, и даже повернулся спиной к Дому не нужных сейчас Советов и только и думает, что о своем невидимом поплавке.

А за спиной у него возле громадных гранитных колонн этого самого Дома Советов весело и оживленно дожидаются автобуса счастливые люди. Мама с редкими вкраплениями пап и множество деток в пестрых платяницах, шортиках и панамах... да таких же точно, как я. И вот они должны сейчас сесть в автобус и уехать в Пионерский Лагерь... Я не знаю, может, и не надо писать эти два слова прям уж с больших букв, но дело в том, что для меня не существовало тогда каких-то конкретных, фактических лагерей, только один, общий для всех, но очень личный, мой лагерь. Лагерь вообще... но заветный, как мечта.

Однако попасть в мечту было совсем не просто.

Как-то раз на маминой работе у кого-то «загорелась» путевка и поздно было ее «тушить» и переписывать фамилию, и ее спонтанно, «на авось» сунули маме в руки. Мама (была ни была!) собрала в малиновый чемоданчик строго по списку (чтобы потом чего не забыл) мои детские рубашки и шортики и привела меня за руку к гранитным столбам – проситься в лагерь.

И вот появилась тетьа с величественной, как выхухольное гнездовище, прической, и мама ей что-то говорила сначала просительно, даже слегка улыбаясь, а потом более эмоционально, а под конец, когда стало ясно, что никакие уговоры не помогают – уже прямо взволнованно: «Ну почему, почему?!»

Да потому, что фамилия не та, да и возрастом не вышел – не пионер еще.

А я стоял в стороне с довольно громоздким чемоданчиком, а детки уже весело рассаживались в автобусе и как будто метали иногда в мою одинокую сторону победные взгляды, и я, хотя понимал, что происходит что-то не то, но все равно верил, что случится чудо и все закончится хорошо.

Но хорошо не закончилось. Мама подошла, смущенная и расстроенная, и стала мне что-то сложно-взрослое объяснять на доступно-детском, а я только понимал, что произошла какая-то катастрофа и в лагерь я не поеду!..

Ну да ладно.

Я поехал в другой раз. Уже по-настоящему: с соблюдением всех крючкотворностей, с личной путевкой и чистой совестью законного пионера.

Я и раньше бывал на Южном берегу Крыма, так что море с горами было для меня не в диковинку, но вот так – с головой на двадцать дней, оторвавшись от дома, «по-взрослому» – такого еще со мной не случалось.

Лагерь «Алые паруса» располагался довольно хаотично на склоне горы, как будто его бросили наверх, и он развалился, рассыпался всеми своими постройками, пока скатился к берегу моря. Внизу был, конечно, пляж – самое вожаделенное место, к слову сказать, хорошо оборудованное, с навесами и ограждением из оранжевых буйков. Чуть выше была большая спортивная, она же и танцплощадка, а дальше длинная, в несколько изломов деревянная лестница, ведущая к корпусам. Подниматься по этой лестнице после купальной расслабухи, по солнцепеку было сущим мучением. Но я всегда подбадривал себя мыслью, что вот на берег идет гигантская волна (каких в Крыму отродясь не бывало), но пока она дойдет – я буду уже высоко, и меня не достанет.

А вверху, куда ни глянь, на тебя с усталой мудростью взирали горы, поросшие фисташками, самшитом, грабинником и кряжистыми дубками. Весь день здесь звенели цикады, тревожно шуршали ящерицы, летали какие-то большие задумчивые жуки, и жить в этой компании было, в общем, нескудно.

Единственной неприятностью было, когда среди глубочайшего сна вдруг выяснялось, что уже наступило утро и пора вставать. Не вставать, а вскакивать как сумасшедший, потому что случалось это так. Ты спишь, и вдруг на весь лагерь с какой-то вероломной громкостью начинает орать не по-утреннему бодря, какая-то буратинно-веселая песня, всегда одна и та же:

Ну-ка, солнце, ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай!
Эй, товарищ! Больше жизни!
Поспевай, не задерживай, шагай!

И припев:

Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода
Закаляйся, как сталь!..

Это означало, что всем нужно немедленно вскочить, побежать в туалет, а оттуда на «верхнюю», возле корпусов, спортплощадку, где физрук в обвисших спортивках, со свистком на веревочке и старательно подтянутым брюшком, заставит всех до единого повторять за ним дурацкие упражнения, да еще умудрится наблюдать за их исполнением и грозить штрафными санкциями.

Но в семь утра солнце, кажется, не настроено еще «брызнуть» ярче, и уж тем более нам не охота за кем-то поспевать и куда-то бодро шагать. Разве что «не задерживать» – это пожалуйста. Идите куда хотите, а мы отсидимся благополучно в туалете.

Вот лентяи, правда?..

Ну что еще... Обязательно в пионерском лагере возникала неподконтрольная эпидемия какого-нибудь увлечения. Как правило, оно было связано с местной спецификой. Например, в нашем лагере склон горы имел выходы сланца – скальной породы, которая легко разделяется на пластинки разной толщины и размера. И вот кто-то придумал выискивать подходящие пластинки и, используя асфальт и углы бордюров как наждак, вытачивать всевозможные фигуры.

Девчонки, главным образом, вытачивали сердечки, ну а мы... ну а мы, понятное дело, этой «дурью» не маялись...

Зато на территории другого лагеря (я потом перебивал еще в нескольких) обнаружилось залежи глины. И вот все пацаны, как по команде стали лепить из этой глины маленькие черепки. Вожатые просто выли белугами, не зная, что с нами делать, потому что занять нас чем-нибудь «плановым» уже не представлялось возможным.

Состязались в нескольких направлениях. Первым делом черепки надо было вылепить похожим на оригинал, а это, согласитесь, не просто, потому что глина ведь не обжигалась, и каждый искал свой секрет, чтобы изделие не развалилось позорно в самый неподходящий, ответственный момент. А этот момент наступал по прошествии нескольких дней, когда черепок высыхал и если не трескался, то каменел, и был готов к окончательной обработке. Тогда каждый брался за зубную щетку и ее пластмассовой (а лучше стеклянной) ручкой полировал изделие до благородного, «воскового» потемнения и блеска.

В третьем лагере кто-то придумал сделать трафарет фирмы «adidas», а поскольку я немного рисовал, то с этой просьбой обратились ко мне. Друзья не учли только моих сложных отношений с английским языком... И скоро фирменный трилистник с надписью «abibas» – АБИБАС! – красовался повсюду: на майках, полотенцах, подушках и простынях, так что в конечном итоге вышел даже небольшой скандалец.



Д. Шишкин в пионерском лагере

Но если описывать все перипетии пионерской лагерной жизни, не хватит и суток, а я совсем не для этого начал этот рассказ и именно вообще не для этого, даже настолько не для этого, что ни в какие ворота советской действительности не лезет то, о чем я собрался поведать.

Даже не знаю, с чего начать.

Ну в общем, так. Вечерами нам показывали кино, а потом иногда, минут сорок на «нижней» площадке у моря бывали танцы. В общем-то, обычный набор детско-юношеских культ-массовых мероприятий.

И вот в один такой вечер закончилось кино – не помню уже какое – и мы высыпали все на площадку. Стемнело, зажгли фонари, заиграла музыка – в общем, романтика и полное пионерское счастье. «Алые паруса», да и только.

Но вот в чем дело – слушать-то музыку я любил, но танцевать – увольте! Как-то я не понимал смысла нелепых, как мне казалось, движений и, может быть, от этого танцевать стыдился категорически. Но девчонки – этот неугомонный народ, как только поняли мою неловкость – тут же, кажется, и обрадовались, и задалась целью научить меня танцевать, то есть окончательно ввергнуть в бездну смущения, потому что танцевать я ни в коем случае не собирался. Словом, пришлось удрать.

Но удрал я не сильно далеко. Так, прошелся немного по набережной и спустился по ступеням к морю.

Но как же все здесь было иначе! Музыка доносилась уже отдаленно, зато увлек, поглотил внимание равномерный, умиротворяющий плеск волн. Я немного посидел, прислушиваясь, и вдруг остро почувствовал присутствие Иной жизни... не той, которая «способ существования белковых тел», и не жизни природы, стихии, а чего-то, что наполняло эту стихию глубоким человеческим смыслом. Сердце томилось от какой-то неразрешенности. Словно что-то открылось в мире Другое, по-настоящему важное, о чем мне никто не рассказал, но что невозможно было сейчас не заметить, какая-то великая тайна, перед которой нельзя было вот так просто резвиться и делать вид, что ее нет.

Я посидел еще немного и рассеянно побрел в обход танцплощадки к лестнице и дальше – все выше и выше, удаляясь от шума человеческого веселья. Странно, но мне совсем не было грустно и я не чувствовал ущерба от своего добровольного одиночества. Напротив, чем тише становилось вокруг, тем более отчетливо выступали из тишины приметы той – замеченной мной – Иной жизни.

Вдруг погас свет, по-видимому, во всем лагере. Музыка сникла, послышались разочарованные возгласы, и воцарилась блаженнейшая, чуткая тишина. Теперь я услышал, как наперебой, надрывно и нежно выводят в траве свои трели сверчки. Постепенно из темноты стали проявляться силуэты кустов и деревьев, пахнувших пряным уютным теплом; потом порыв ветра донес с моря резкий и свежий запах водорослей и снова унес куда-то. А в небе внезапно зажглось, рассыпавшись, такое невообразимое, необъятное множество звезд, что сердце зашлось от невиданного восторга... Но не благоденствие первозданной природы, не запахи подействовали на меня так сильно. Нет. Я вдруг с новой, невиданной ясностью почувствовал присутствие *той жизни*, жизни бесконечно более высокой и чистой, чем все, что я знал до сих пор, но не наивной, легкой, а как будто выстраданной веками, обретенной болью ушедших, но не исчезнувших поколений. Это было чувство, похожее на внезапную встречу с Кем-то бесконечно родным, о Ком ты почему-то забыл и другие не напомнили, с Тем, Кого ты давно искал и теперь нашел и ни за что не хочешь больше расстаться. И именно оттого, что я ясно чувствовал реальность этого благодатного и тихого присутствия, но не знал, как это объяснить и назвать – сердце разрывалось на части. Я хотел остаться в этом мгновении навсегда, уйти в него от непонятной и смутной в своих грядущих опасностях жизни, но маленьким, детским чутьем понимал уже, что хотя все в моей жизни не так, как должно быть, но с этим придется еще долго и горько мириться и маяться... Я замер, с немой безотчетной мольбой обратившись к неведомой красоте, внезапно открывшейся душе...

Но тут зажегся свет, мгновенно заиграла, взвилась прерванная на полуноте музыка, раздался возглас единодушного ликования и... все было кончено.

Я плакал, не замечая слез, и быстро шел, почти бежал вверх по лестнице, не понимая толком, что со мной происходит. Но как же мне было светло, как чисто и легко на душе!.. и только девчонка, по-детски прихорошившаяся и спешащая из корпуса вниз – к свету, музыке, счастью, – испуганно отшатнулась, встретив меня, и изумленно и расстроено воскликнула:

– Димка, ты чего?!



Сотера

С тех пор прошло много лет, и лишь совсем недавно я узнал, что урочище, в котором располагался наш лагерь, с давних пор называется Сотера. Существует много разных мнений по поводу такого названия: кто говорит, что там было поселение, кто – одноименный монастырь или храм, разрушенный в древности турками... Вряд ли мы когда-нибудь узнаем истину. Но ясно только одно: в переводе с греческого слово «Сотер» означает Спаситель.

Первый крест



Что я тогда знал о Боге? Может быть, больше, чем сейчас, но церковного измерения этого понимания не было. Было пионерское некрещеное детство в меру беззаботное, в меру скучное, в меру томительное от множества растворенных в воздухе сложных вопросов.

Я не помню, в первый ли это раз я попал в пионерский лагерь... но во всяком случае один из первых это точно. Помню, конечно, и радость солнца, воздуха, света, и восторг купания в море, но помню и «трудовые десанты», обескураживающие порой поставленными задачами. Например, в сосновом лесу на территории лагеря мы должны были собирать шишки в кучу... и утомительно нуднейшие и бессмысленнейшие построения – «линейки» на солнцепеке, когда ребята один за другим хлопались в обморок на глазах у всех, и вожатые их заботливо оттащивали в сторону, но линейка, что называется «держала удар», стойчески, «не моргнув», продолжалась, и звучали какие-то бравурно бредовые речи.

А еще была у нас в лагере общая любимица – приبلудившаяся собака. Ей было по барабану, что там надо изображать на плацу, и когда эхо отбивало восторженные выкрики главной пионервожатой (или кто там эти выкрики производил, я уж не помню), любимица наша Герда принимала это эхо за лай и ответственно подхватывала ко всеобщему удовольствию и, ничуть не стесняясь, выбегала на серый и точно заколдованно-заговоренный пустой четырехугольник раскаленного асфальта, окруженный плотными рядами согнанных и плотно притертых плечом к плечу пионеров. Именно радостно нам было, что она вот так – поперек, и ничего ведь ты с ней не поделаешь и из пионеров не исключишь и родителям не пожалуешься... собака, что тут скажешь.

Естественно, ее подкармливали и закармливали даже пионерскими лагерными обедами и ужинами, а она и не против была и радостно вздымала хвостом пыль и, наверное, думала на своем, собачьем: «Вот ведь мне подфартило неожиданно-негаданно... Все-таки дети – это люди!»

Но счастье недолго длилось... Я сейчас отчасти понимаю логику начальницы лагеря. Что, мол, дети, сотни детей, и она за них отвечает, а тут какая-то собака и скорее всего без прививок... ну совершенно залетная и бродячая собака... и эта любовь к ней всего лагеря повальная и... какая-то необъяснимая, непостижимая для строгой тети-моти. И все-таки я не могу понять, как она – женщина, наверное, мать, как она смогла додуматься до такого.

Словом, директриса лагеря приказала завхозу Герду, любимицу нашу убить. И этот жлоб, не долго думая, – всего-то делов – зарубил ее штыковой лопатой и выбросил на мусорную кучу за хоздвором. Вот такая проза советской действительности, а может, действительности вообще...

Но дальше случилось для директрисы этой и жлоба что-то невероятное и никак не предсказуемое ими. А случился в пионерском лагере бунт пионеров, потому что все эти подлые

и сволочные, простите, подробности каким-то образом скоро стали детям известны и все мы, конечно, были опечалены и разгневаны, а девочки плакали навзрыд. И я помню, что между нами появился вожак – отважный малолетний герой... вот ведь интересно... ему ведь тогда, должно быть, и 12-ти еще не было... и я часто вспоминаю его, думаю, что с ним стало с его горячей душой, с его решимостью и явными задатками лидера?.. И с грустью я думаю, что этот славный отважный мальчишка, и имени которого я не помню... скорее всего он канул бесславно где-нибудь в середине 90-х, когда вот такие – не самые худшие на самом деле: и отважные, и решительные, и смелые, но так и не нашедшие себя – славные в общем ребята сотнями гибли в бессмысленных и страшных разборках. А может быть, он и выжил каким-нибудь чудом и мне очень хочется в это верить, но тогда...

Тогда этот мальчишка, что называется «поднял народ» и пошел во главе ополчения и ничтоже сумняся проколол все четыре колеса жлобовского «Жигуля»... и еще какие-то акции неповиновения организовал. А еще...

Я помню отбой, тихий час, тишину и вдруг по громкой связи на весь пионерлагерь объявление: такой-то такой-то – то есть мальчишка этот – немедленно зайди к начальнику лагеря. Вы понимаете, не вожатому приказали привести его за ухо, как нашкодившего котенка, а по громкой связи... в тихий час... на весь лагерь... И в наших глазах он в этот момент был настоящим, действительным героем. Ну просто Гарибальди для современников взрослых. Да он и был таким на самом деле... Жаль, я не помню, что с ним случилось потом, но, по-моему, его даже не выгнали из лагеря. И знаете почему, как мне кажется? Да потому, что он был прав, вот и все.

А еще он узнал, куда жлоб выбросил труп нашей Герды, и пошел туда и... вот я, честно говоря, побоялся присутствовать, оробел – а он взял и выкопал настоящую могилку в сосновом лесу и перенес туда тело нашей любимицы и закопал, и еще... и еще он поставил на этой могилке собачьей крест.

Впервые в моей жизни крест обрел какой-то совершенно определенный, не понятый еще до конца, но реальный, действительный смысл. И этот смысл заключался в том, что есть на свете иная, высшая правда, и эту правду убить невозможно – она остается и будет всегда и везде, несмотря ни на что. Потому что эта правда – правда любви.

Быть чадцами



О самом лучшем почти невозможно говорить. Оно неуловимо, как сладостный запах детства, возникающий из ниоткуда и стремительно тающий, так что вдыхаешь вновь, но ничего уже не чувствуешь и не помнишь...

Я ехал на рассвете в маршрутке. И вот в окно увидел легкие перистые облака, едва освещенные восходящим солнцем. И тут что-то произошло во мне. Какое-то щемящее, забытое, но мгновенно узнаваемое чувство вспыхнуло в душе. Вернулось как будто из небытия... или я сам ожил, пробудился от сумеречной спячки. Как же мне стало светло, как радостно и легко! И я вспомнил, что когда-то в детстве уже видел такие именно облака и испытывал такое же сильное и ясное чувство.

Или вот еще. Тридцать лет назад нам дали квартиру. А до этого я жил в старом домике с печкой. И в этой новой квартире под потолком висела новая, должно быть, только что купленная люстра. Такая, знаете, модная в восьмидесятых годах – плоское треугольное стекло, чуть выпуклое, а сверху лампочки. Обыкновенная вещь, но я смотрел на нее, и мир преобразился фантастически. И это чувство: ясное, сильное я ношу вот уже тридцать лет где-то в глубинах души. И иногда оно беспричинно вспыхивает, и я на миг становлюсь просто младенчески, до слез счастливым.

А еще мы с пацанами бегали под Новый год в магазин «Детский мир» покупать хлопушки, конфетти и елочные шары. Вот шары я любил особенно! И всегда, когда я смотрел в них, испытывал необъяснимое и очень сильное чувство: совершенно, то есть принципиально необъяснимое даже сейчас, и настолько ясное... особенное... наотмашь отличное от всего остального, что заменить его в привычной жизни было попросту нечем. Точно я пытался разгадать безнадежную, какую-то бесконечно жалостную тайну. Тайну, разгадки которой не существует вовсе...

Вообще, самые сильные чувства, как правило, связаны с детством. Но вспыхивают они не обязательно тогда, когда соприкоснешься с какой-нибудь старой вещью или услышишь рассказ об известных событиях, а, напротив, само событие подчас всплывет в душе в ярком озарении тогдашнего чувства, и это никак не бывает связано с повседневной реальностью. Словно проступает какая-то подспудная, светлая жизнь души. Жизнь позабытых, но не исчезнувших чувств...

Так же и в духовной жизни. Только детство там – не прошлое, а настоящее, то сокровенное единство с Отцом, к осознанию которого нам нужно еще идти и идти. *Настоящее*, которое всегда с нами, но которого мы по грубости своей не чувствуем, а подчас и не ценим.

Говорят, страдания и смерть – это следствие греха, но самое трагическое следствие греха – это забвение Бога: самого лучшего, что есть на свете! И вот из этой привычки, из этого

забвения нам нужно обязательно вырваться. А воспоминания настоящего, как спасительные маяки, указуют путь.

Если мне в Крыму случается оказаться в горах возле разрушенного пещерного монастыря или храма, то я не просто останавливаюсь, а как-то замираю душой, прислушиваясь... И тогда – точно ветром веет откуда-то – я отчетливо чувствую тот дух, которым была исполнена жизнь давно почивших людей: священников, монахов, мирян... Этот дух так реален и ясен, так чист и высок, что мне кажется – я присутствую с теми людьми в том мире, которого больше не существует, но который продолжает свое бытие, несравненно более реальное, чем реальность нашей убогой «действительности». И всякий раз у этих древних развалин я слышу отдаленное звучание литургии. Нет, это не ангельское пение, не хор голосов, но то, что превышает чувственного. Это ликование любви, торжество победы и обещание жизни, дарованной Тем, Кто Сам *есть путь и истина и жизнь* (Ин. 14, 6). И в эти минуты я точно знаю – *для чего все*, и все обретает смысл и истинное свое значение. Даже скорби, страдания и сама смерть предстают предвестниками радости, которая стбит того, чтобы ради нее претерпеть безумие мира. Это похоже на зов, столь сильный, что хочется все оставить, только бы дойти, прозреть до конца, приобщиться... И я знаю, что это – зов Царствия Небесного, Божий зов; и люди, жизнь которых открывается в этих «веяниях», – это святые, исполнившие на Крымской земле свое высшее предназначение – быть чадцами Божиими.

Оптина Записки трудника



Первые впечатления



Помню серый осенний день, 14 сентября 1992 года, трассу, на обочине которой меня высадила рейсовый автобус, и другую дорогу – грунтовую, попроще, примыкающую к главной. И вот я иду по этой дороге и знаю, что иду в Оптину пустынь, хоть никаких указателей нет, а просто бабулечки какие-то сошли и я побрел за ними, но не с ними, потому что не хотелось ни с кем общаться и ввязываться в разговор, отвечать на вопросы, что-то объяснять... Так что я поотстал немного, остановился даже, и первое, что меня поразило – величественная тишина, песок и сосны, высокие и стройные, в кронах которых, колеблемых ветром, шумит непрестанно зеленый прибой. Вот так я и запомнил: тихий морозящий дождь, песчаные дюны и сосны, тишина и я стою, задрал голову и застыл от благоговения. Это были первые мои отчетливые впечатления от Оптиной пустыни, хоть я до нее и не дошел еще, в собственном смысле.

Дальше я помню уже ворота монастыря, арку над входом, а слева от нее, в стене – изображение (кажется, преподобного Амвросия), и я приложился с земным поклоном, вошел на монастырский двор и направился прямо, в сторону храма. А навстречу мне шел монах в темных одеждах, как бы в глубокой задумчивости, с длинными шерстяными четками в руках, и голова его была слегка склонена вбок... Кажется мне, что он именно один шел по дорожке, как-то вроде пустынно было в то время, впрочем ведь я понимаю, что мог других и не запомнить. А еще помню, что я обратился к нему, поравнявшись, и это был первый человек, с кем я заговорил в Оптиной. О чем мы говорили, я уже не помню в точности. Но помню, что это оказался не монах, а послушник, и я как-то быстро, после нескольких вопросов и ответов, перед ним совершенно открылся и высказал все, что наболело у меня на душе. А он слушал внимательно и в самом этом слушании было что-то оптинское, настоящее – сдержанное, молчаливое, но искреннее, с сопереживанием и живым участием. И он слушал, не перебивая. А потом посмотрел на часы и сказал, что сейчас «безвременье» – службы нет и коменданта тоже, где-то он по другим послушаниям занят... надо ждать. Так что я могу пока зайти в храм, а потом – к нему в сторожку, где он дежурит.

Я так и сделал. Причем посещение храма я помню туманно, только потому, может быть, и запомнил, что увидел икону большую Казанскую – точь-в-точь такую, какая мне явилась за год до этого: темная, старинного письма и без оклада... Вот это для меня было изумительно. А потом я уже помню себя в сторожке, и мы с послушником этим – Владимиром Пушкаревым, будущим отцом Ферапонтом, сидим в каком-то дальнем закутке, там, где хранятся посылки и чьи-то вещи, и разговариваем по душам. И опять же я не помню подробно, о чем мы говорили, только отрывками: например, об Иисусовой молитве, а еще я рассказывал о Крыме и о том, что четки вырезаю из кипарисовых и можжевельниковых веточек, а Володя тоже оказался резчиком, и я подарил ему несколько можжевельниковых и кипарисовых веточек, и он обрадо-

вался, благодарил за эту весточку с «русского Афона». Вот это помню точно, а остальное – как в тумане, все-таки сколько лет прошло... Но одно могу сказать с уверенностью – разговор наш был неспешным и что называется «по душам», а потому я сильно удивился, когда узнал впоследствии, что Владимир в монастыре слывет молчуном и даже как бы нелюдимым... Впрочем, и в этом была тоже своя правда, но только правда духовная, потому что он, несомненно, стремился к неразвлекаемой, чистой молитве, а она требует отрешенности и молчания. И тогда – в первый день моего пребывания в Оптиной – Владимир разговаривал со мной неспешно и обстоятельно, я думаю, именно по велению сердца, желая поддержать меня в трудный момент. Вспоминая и оценивая это впоследствии, я понял, что с его стороны это и было подлинное проявление веры и жизни во Христе, как он это понимал и чувствовал.

Потом была вечерняя служба, но саму службу я опять же никак не запомнил, помню только что был на ней и «оттаивал» душой и телом в молитвенной теплоте храма.

А после службы я пошел искать могилки оптинских монахов и старцев, но как-то неправильно понял, где это небольшое и на тот момент совершенно заброшенное кладбище находится, и зашел куда-то в дальний юго-восточный угол монастыря. И вот, все еще высматривая могилки, я возвращался вдоль южной стены и вдруг увидел, что впереди стоит Владимир и кого-то точно ждет. Я это отметил про себя, но не ускорился, а все так же шел не спеша, высматривая могилки. А он все стоял и ждал. И только когда я приблизился, оказалось, что он дожидается меня. В руках у него была теплая вязаная кофта и книжка «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Он мне подарил и то и другое и мы с ним сердечно попрощались.

А дальше я с группой трудников и паломников прошел через небольшой, дубово-сосновый лес и оказался в скиту, где размещалось тогда общежитие. Это было двухэтажное здание, разделенное на несколько хозяйственных и жилых помещений, одно из которых на втором этаже налево оказалось отделением для новоприбывших. Такой довольно просторный и пустынный зал, с множеством простых кроватей с матрасами и тумбочками в изголовье. Кроме меня здесь были всего два или три человека. В первую ночь здесь ночевали все паломники, а также на несколько дней задерживались те, кто не собирался оставаться в монастыре надолго. Когда уже были решены все организационные вопросы, и я лег на свою койку, но не спал, и лампочка какая-то тускло светила – я стал смотреть в потолок и понял вдруг, что нахожусь в храме, причем под самым его купольным сводом. Необыкновенное чувство!

Позже я узнал, что довольно обширный храм Льва Катанского еще в советское время был переоборудован под общежитие и разделен на этажи и секции. А тогда я лежал и рассматривал с изумлением старинные фрески, большими фрагментами выступавшие из-за отвалившихся пластов штукатурки. И мне казалось, что лики ангелов и святых, выступая из прошлого, безмолвно и кротко взирают, обращаются к нам, живущим ныне, с напоминанием о вечности, покаянии и любви... И этот безмолвный диалог в тишине поруганного храма был одним из самых сильных впечатлений за все время моего пребывания в Оптиной пустыни. Так началась моя оптинская жизнь...

В первую неделю я практически не спал, а еженощно погружался в какие-то воспаленно-бредовые состояния. Мне непрестанно снилась несусветная чушь, околесица, даже не то что снилась, а как будто какая-то чудовищная борьба происходила в моем сознании, похожая на яркий цветной и запечатлевающийся сон, да и длящийся по ощущениям чуть ли не всю ночь. Раньше со мной ничего подобного не было. И к этому событию в памяти примешалось другое, на каком-то глубинном, непостижимом уровне, несомненно связанное с первым. Однажды перед сном я сидел на своей кровати в нижнем ряду двухъярусных нар, как вдруг мне впервые в жизни отчетливо до озарения представилось, что я, да и любой другой человек, в самом деле, может быть, засыпая, не проснется уже никогда. И уйдет без покаяния в какой-нибудь такой беспрестанно кошмарный сон, из которого проснуться уже будет

попросту некуда, потому что тело твое будет лежать в могиле. Очевидность такой возможности понятна каждому, но мы редко осмысливаем это правильно, по-христиански, пребывая в преступной беспечности. Меня так глубоко потрясла эта простая мысль, что я долго еще сидел на кровати, переживая это необыкновенное откровение, оглушающее своей очевидной, но неосознаваемой нами глубиной. Подумать только, сколько людей, исполненных обыденных, житейских переживаний, планов и надежд, страстей... ложились однажды спать и более уже не просыпались! Не знаю точно, но почему-то мне думается сейчас, что именно после этого «откровения» как-то вдруг сразу прекратились мои ночные кошмары, состоялась моя первая в Оптиной исповедь и началась более спокойная и ровная жизнь. Больше того, не кривя душой назову эту жизнь безмятежной, потому что, несмотря на все повседневные бытовые трудности, жизнь в Оптиной действительно вспоминается как время чистой и безмятежной радости, мирного и доброго послушания...

Игумен Феодор



Одним из первых и самых ярких впечатлений в Оптиной пустыни для меня стала встреча с игуменом Феодором (Трутневым) и исповедь у него. Он прямо производил на нас – юных, да и на многих вообще паломников и посетителей монастыря – впечатление старца, отчего, как я понимаю, сам отец Феодор всячески «открещивался» и даже по-монашески, вероятно, страдал от такого излишнего внимания. Но тем не менее мы все искали общения с ним, стремились хоть словечко от него услышать, спросить совета.

На вид он действительно был настоящий старец. Такой умиленный и убеленный сединами дедушка, с сердечной и доброй улыбкой в дремучих седых усах... Впрочем, подумалось сейчас, ведь дедушек и кроме него было много и даже в священном сане. Нет, определенно исходила от него какая-то особенная благодать. Одевался он, помнится, очень просто и даже на куколке его было такое пятнышко, как будто капнули хлоркой или чем-то таким отбеливающим, что ни отстирать, ни закрасить уже нельзя. Даже сама эта ветхость куколя странным образом еще больше нас привлекала, делала отца Феодора в наших глазах настоящим старцем, наследником простоты и нестяжательности древних отцов.

Об исповеди своей, может быть, впервые по-настоящему глубокой и полной, я, конечно, рассказывать не буду. Но засвидетельствую, что на исповеди у отца Феодора с человеком действительно происходило нечто необыкновенное и даже порой неожиданное. Например, я видел, как здоровенный мужик, кажется, сибиряк, приступив к отцу Феодору на исповедь, прямо в храме во время службы разрыдался горестно в полный голос, как дитя. И это, как мне помнится, был не единичный случай, а именно явление, дар такой, – на исповеди у отца Феодора люди раскаивались полно и, что называется, без остатка. Мы же, юные трудники, тем более стремились к отцу Феодору, что довольно долгое время той осени в монастыре не было главного духовника – отца Илия и все свое неопитское стремление пообщаться со старцем (стремление хоть и наивное, но совершенно искреннее и исходящее от самого сердца) мы обращали к отцу Феодору.

В Оптину я попал от больших скорбей и переживаний, и отец Феодор так проникся состраданием, что в келье написал от руки «утешительную» молитву и потом передал ее мне в храме.

Начиналась эта молитва словами: «Господи, спаси мя, погибающего...».

Я эту молитву выучил наизусть и часто ее повторял, получая облегчение во всех своих обстоятельствах. Прошло много лет, прежде чем я узнал, что это молитва из акафиста «Всемогущему Богу в нашествии печали».

Ярко запечатлелись в памяти беседы с отцом Феодором после ужина, когда в храме царил таинственная тишина, полумрак, мерцали лампы и напротив правого предела выстав-

лялось несколько скамеек, на них садились люди, а на солее, на стуле, устраивался лицом к людям отец Феодор, и начинались беседы. Удивительно, но я почти совсем не помню их содержание, только атмосферу – необыкновенно теплую, душевную. Вот почему, когда я прочитал в «Добротолубии» у преподобного Феодора Студита, что «Бог любит душевное слово», мне сразу вспомнились эти самые вечерние оптинские «посиделки».

К слову – о «Добротолубии». Незадолго до приезда в Оптину я приобрел одно из первых репринтных изданий этой книги – довольно объемный трехтомник в мягкой обложке крупной печати. В один из первых дней пребывания в Оптиной я подошел к отцу Феодору взять благословение читать «Добротолубие». Он посмотрел на меня внимательно со снисходительной и доброй улыбкой и сказал:

– Знаешь что... ты сейчас лучше сказки читай.

Вот такой неожиданный был ответ. И как я понимаю сейчас – мудрый, потому что глубина истинной мудрости заключена именно в Божественной простоте и добре. А от чтения аскетической литературы в то время, от неправильного ее понимания многие неопиты впадали в прелестное высокоумие. Так что «Добротолубие» я стал читать уже много лет спустя по благословию своего духовника, ныне покойного схиархимандрита Ионы. И, опять же, во многом благодаря отцу Феодору, его тогдашнему благословию читать сказки, меня особенно поразили много позже слова великого столпа монашества преподобного Макария Великого, прочитанные все в том же «Добротолубии». Слова, непостижимым образом объединяющие сказки с этой великой трезвенной книгой. «Единственное средство познания Бога, – говорит преподобный, – есть доброта». Вот так...

Но вернемся к нашим вечерним беседам в храме. Помню, что отец Феодор не столько рассказывал что-то, сколько зачитывал отрывки, порой довольно пространные, из духовных книг, а потом отвечал на вопросы. Я помню, однажды задал ему вопрос – не его ли это показывали по телевизору, когда он рассказывал о том, как собирал травы?.. Когда-то этот сюжет совершенно перевернул мою жизнь. Я увидел его по телевизору в самый темный и мучительный период своей жизни и был просто покорен, очарован светом и простотой, исходящими от оптинского старчика, рассказывающего о том, что он собирает в монастыре лечебные травы... Именно под впечатлением от этого небольшого сюжета я и загорелся идеей попасть в Оптину. Я был уверен, что тогда по телевизору показывали отца Феодора, и прямо спросил у него об этом. Но он улыбнулся своей обычной душевной улыбкой и ответил, что это не он был, а другой монах – бывший военный. Но я и сейчас уверен, что это был сюжет именно об отце Феодоре, просто батюшка не хотел привлекать к себе внимание.

К слову, батюшка тогда сказал о себе, что он «писака», то есть я уж не понял в каком отношении, но ясно было, что он человек, имеющий отношение к письменному творчеству, и это мне было особенно близко и радостно, потому что уже тогда я мечтал писать. Помню, еще он рассказывал, как однажды привез рукопись то ли редактору, то ли издателю в десять часов утра. Долго звонил, и наконец вышла его встречать заспанная жена этого редактора. Неловкая такая получилась встреча. И вот отец Феодор с добродушным возмущением и искренним изумлением восклицал тогда, в разговоре с нами: «Вы представляете – 10 часов, а она спит! Как можно спать в десять часов!» Но я эту реплику, может быть, именно потому и запомнил, что тогда в своей повседневной «дооптинской» жизни сам если не часто, то уж во всяком случае не редко спал и до десяти и больше...

Еще запомнилось, как кто-то стал на этой вечерней беседе горячо обвинять во всех несчастьях России жидов. Отец Феодор довольно резко и строго оборвал этого человека и сказал:

– Запомните, наши враги не жида, а грехи! Вот с чем надо бороться, «даже до крови». Бороться с грехом в своей жизни!

Вообще, в который раз изумляюсь, как странно, выборочно работает память. Вдруг вспомнил неожиданно содержание одного текста, который читал отец Феодор. Там шла речь

о человеке, который, находясь в каких-то тягостных обстоятельствах, взмолился Богу с просьбой прекратить его земное бытие, потому что он не может больше терпеть. Тогда ему было предложено вместо нескольких лет земных скорбей пережить одну минуту адских мучений. И вот взят он был в преисподнюю и испытал такие страшные и долгие, бесконечно долгие мучения, что, когда явился к нему, наконец, ангел – этот человек воскликнул: что ж вы меня обманули, сказали минуту только, а я тут уже нахожусь несколько ужасных лет! А ангел ему на это ответил: да ты дружок тут еще и треть срока не пробыл... Ну и человек тогда осознал, что самые невыносимые страдания на земле не идут ни в какое сравнение с мучениями адскими... Я сейчас вспоминаю, что и потом эту историю где-то читал, вроде бы у Сергея Нилуса. Но тогда я ее впервые услышал от отца Феодора, и впечатление от услышанного было сильным.

Вообще эти вечера оставили в душе теплый и добрый след...

В храме Казанской иконы Божией Матери



По дороге на ночлег в скит, проходя мимо разрушенного храма Казанской иконы Божией Матери, мы заходили в него и какое-то время просто стояли в тишине. Изумительное это было чувство. Разрушенный храм, без потолка, без пола даже. Вместо пола здесь была земля, причем перепаханная колесами тракторов и прочей техники, потому что, как я узнал позже, здесь был чуть ли не ангар для техники... В храме! Вообще эта тема – осквернения храмов в советское время – особенная, ведь в самом этом озлобленном стремлении осквернить святыню именно заключена определенная нарочитость. Бесовская. Речь идет не о простом запустении вследствие заброшенности и действия времени, а о каком-то показательном надругательстве над святыней, точно учинявшие его сами себя старались убедить, что ничего им не будет, даже если они осквернят святыню, сделают нечто за грань выходящее. Словно сметая уже все нравственные пределы, совершенно отменяя совесть и веру, идя до конца и не видя мгновенной кары, дают себе еще один повод усомниться в существовании Бога. Психология преступника... Но никогда еще такая психология не приводила человека к добру и чистоте, к безмятежности жизни. Потому что «отгрестись» от истины не то, чтобы сложно, а попросту невозможно. Это как если бы поставить себе целью доказать всем, что можно жить не дыша. Умучаешь себя, да так и помрешь без воздуха – вот и весь итог будет, несмотря на все амбиции, решимость и упрямство...

Словом, Казанский храм стоял тогда в совершенном и крайнем разорении. Вход, а точнее какой-то пролом в стене – был со стороны алтаря. Но понять, где именно здесь алтарь, где солея и основная часть храма – можно было только приблизительно. Земля вместо пола, как я уже сказал, была изрыта колесами техники, но в тот момент, когда мы жили в Оптиной, конечно, уже никакой техники в храме не было, а напротив, появлялись первые признаки начинающегося возрождения, а именно – вдоль стен внутри пространства храма можно было увидеть несколько холмиков на месте могил уж не помню кого, но конечно особенно почитаемых игуменов и архимандритов монастыря. Как эти могилки нашли, я не знаю, должно быть, по описаниям, а может быть, и какие-то остатки надгробных плит сохранились, в советское время ведь и с надгробными плитами не сильно церемонились и могли прямо по ним ходить и ездить. Увы, но такая психология культивировалась...

И вот стоишь посреди разрушенного собора, лампадки горят на могилках, ветерок набегает по времени, и такая особенная, благодатная царит тишина. Стоишь, смотришь в небо, усыпанное мириадами звезд, и точно чувствуешь неоспоримую близость вечности, близость явственную до слез... Необыкновенное чувство! Постоишь так с минуту и уже идешь быстрым шагом, догоняя всех, в скит на ночлег.

По дороге в скит



К слову, в скит ходили через лес. Небольшой такой переход. Может быть, метров триста, не больше. Росли там сосны и дубы, высокие и стройные, что особенно странно и непривычно было для крымчанина. У нас дубки в основном невысокие, выросшие на каменистых склонах, перекрученные ветрами, да и сосны такие. А в Оптиной именно удивляла эта высота и стройность деревьев. И когда ветер шумел – в соснах, в вершинах их, слышался шум прибоя – это, конечно, чисто крымская ассоциация, но запомнилось. А дубы удивляли вот чем. Идешь по дорожке в скит и вдруг слышишь короткий свист и стук падающего рядом с тобой желудя. Тоже чудно, непривычно. А еще, если уж заговорили про этот лесок между монастырем и скитом, здесь я впервые услышал, как во время сильных морозов среди ночи лопается кора на деревьях с громким звуком, как будто выстрелил кто-нибудь. Я в первый раз так и подумал, что где-то стреляют, но мне потом объяснили...

Но ходить через этот лесок ночью, в одиночестве было жутковато, прямо скажу. А ходить приходилось. Особенно когда я стал нести послушание в паломнической трапезной и возвращался в скит довольно поздно, когда вся работа на кухне уже была переделана. Старались ходить по несколько человек, но иногда приходилось и самому идти. Вот уж когда молишься... А чаще даже не про себя молишься, а идешь и поешь вслух: «Христос воскрес из мертвых...», приободряясь этим радостным пасхальным гимном победы Христовой.

В лес за грибами



Одним из самых ярких событий той осени был для меня поход в лес за грибами с мальчонкой, имя которого я забыл. Вообще в Оптиной в то время обитало несколько таких мальцов лет по 10–12. Не помню уже точно, были ли у них родители, кажется, у кого-то были, у кого-то нет. Но мальчишек этих все знали, и они в Оптине были между всеми свои. Покладистые и славные ребята. Один из них как-то предложил мне сходить в лес за грибами. У меня выдался выходной, и мы пошли. Взяли с собой, кажется, полиэтиленовые пакеты побольше, хоть я и знал уже, что за грибами положено ходить с ведрами, корзинами или коробами, чтобы грибы не давились. Но ничего такого у нас не нашлось тогда и мы пошли с пакетами.

Мальчишка этот, как оказалось, был настоящий старожил и абориген. Вел меня довольно долго лесными дорогами, на развилках точно зная, куда идти дальше. Мы шли с ним и разговаривали... Ну а красоту русского леса в пору срединной осени, когда еще не холодно, но уже листья поменяли свой цвет, – эту красоту, этот воздух необыкновенный, запахи лесные – все это передать, конечно, невозможно. Кто бывал – сам поймет, кто не бывал – тому и не объяснишь. И вот мы идем, я наслаждаюсь всем этим осенним пиршеством, а мальчонка мне без устали чего-то рассказывает. Не помню уже, что именно, но поразило меня и врезалось в память то, что он сказал о наших кульках для грибов: «Да, жаль маловато у нас куда класть... В прошлый раз с тележкой строительной ходили – вот это было нормально». Я тогда подумал, что он приврал маленько, потому что все-таки привык, что в Крыму грибы надо еще сильно поискать и спину погнуть, чтобы набрать одно ведерко, хоть и бывают иногда исключения, но все-таки не со строительной же тележкой за грибами ходить... Так я думал, а мы все шли, шли... мимо какого-то озера... Словом, довольно долго и целенаправленно, как я понимаю. Я еще думал: что ж мы все идем и идем, а собирать-то когда будем? Нужно же будет еще и обратно потом идти.

Но вот мы пришли на какую-то поляну, и мальчишка этот остановился и сказал буднично: «Все, пришли». Я огляделся и, что называется, «прозрел». Чего-чего, а такого я в Крыму никогда не видал. То есть вся поляна, довольно большая – со школьный стадион, не меньше, была сплошь покрыта грибами, так что в прямом смысле их можно было бы косить. Это были свинушки. Грибы не сильно благородные, но съедобные. И насобирали мы грибов этих каждый по два полных кулька с горой, наверное, минут за двадцать. Не дольше. Насобирали и еще там осталось столько, что как будто мы и не собирали вовсе. Собрали и пошли обратно, и вот такой, действительно, поход за грибами произвел на меня сильное впечатление. А ходили мы, к слову сказать, по благословию. Тогда священноначалие благословляло и монахов, и трудников – тех, кто знает окрестности – ходить и собирать для монастыря всякие лесные дары. Кто по ягоды ходил, кто по грибы, кто за травами. И мы отвары из этих трав потом пили зимой

вместо чая в паломнической трапезной. Правда, что за трава была там, я или не помню уже, или не знал вовсе.

Об одном замечательном человеке



К тем же, скитским воспоминаниям относятся воспоминания об одном замечательном человеке. Почему-то в памяти сохранилось только его имя, хоть по возрасту (а было ему тогда уже за пятьдесят) я – мальчишка, юнец – должен бы был называть его по имени-отчеству. Но, очевидно, он сам этого не хотел, так что и запомнился как Саша... Ни отчества, ни фамилии не сохранилось. Зато сам человек остался в доброй памяти навсегда. Знаете, я не то чтобы никогда до него не видел русских мужиков, видел и немало, но он был точно сошедший со страниц классиков, из каких-нибудь «Записок охотника» Тургенева, или, если уж прямо говорить, с самого начала мне казалось, что именно таким должен был быть тот мужик, который сумел «двух генералов прокормить». То есть вот просто «в ноль», хоть в кино снимай, как будто он сошел со страниц книг, материализовался и пришел в Оптину пожить. Точно, до изумления! Он был невысокого роста, рыжий и коренастый, а еще сметливый, бойкий и добродушный. Настоящий русский мужик из сказок. Он спал на соседней койке, и потому мы с ним сразу познакомились. Но я вообще-то не сильно общительный был, все больше пребывал в своих переживаниях и «экзистенциальных» заботах, зато Саша этот был в меру словоохотлив, радужен и прост, но никогда не навязчив, вот что я еще хочу отметить. Он как-то очень точно чувствовал, когда нужно говорить, а когда действовать. Последнее изумило меня в нем больше всего.

Я уже сказал, что кровати в нашем общежитии были обычные, панцирные с растянутыми, провисающими сетками и спать на них было, мягко говоря, не слишком удобно. И вот я как-то обмолвился об этом в разговоре с Сашей. То есть даже не то чтобы пожаловался, а просто упомянул мимоходом, не больше того. Сказал и забыл. И вдруг прихожу вечером с послушания и вижу, что на кровати у меня лежит добротный такой, сколоченный из досок щит, очень удобный и накрытый уже, как положено, матрасом, заправленным в белье, и одеялом... Я просто опешил.

Оказалось, Саша взял благословение у кого-то из батюшек, пошел на хоздвор, нашел там какие-то обрезки на пилораме, тут же их подогнал, обстрогал в столярке, сколотил щит и на себе притащил его в наш барак. Просто так... потому что услышал, что мне неудобно спать. Сказать, что я одеревенел от такого поступка – это не сказать ничего.

Но и это еще было не все. Я приехал в Оптину совсем налегке, даже куртки у меня не было, так что я долгое время ходил в кофте, подаренной отцом Ферапонтом. Ну и обуви у меня тоже не было соответствующей. Чуть ли не сандалии какие-то крымские, а ведь была уже настоящая глубокая русская осень. Саша узнал, что по соседству с монастырем есть военная часть и «списанные» сапоги там просто режут ножом вдоль голенища и выбрасывают на свалку.

И вот Саша почесал за ухом, спросил, какой у меня размер ноги, пошел на эту свалку, нашел кирзовые, кажется даже неношенные, но списанные «по времени» и разрезанные сапоги. Потом он достал где-то шило, цыганскую иглу, капроновую нить и добротню, на совесть эти разрезанные сапоги прошил, причем, когда он мне их вручал, то пояснил, что швы обработаны каким-то специальным водонепроницаемым раствором и теперь эти сапоги носить – не сносить. Он их еще и начистил до блеска и вечером после работы вручил мне запросто, радуясь, что я больше не буду ходить по осенней распутице в сандалиях. И он, вы понимаете, действительно радовался и больше ничего ему нужно не было. Сделал доброе дело и радовался... Вот такой был человечий этот Саша! А по сути, если разобраться, самый обычный, нормальный русский мужик. Побольше бы было таких, а то на беду мы все больше утрачиваем представление о христианской этой и естественной нормальности.

Как-то мы с ним разговорились, и он рассказал мне историю, подробности которой я спустя двадцать пять лет, конечно, не помню, но которая как будто лишней раз подтверждала, что Саша сошел со страниц русской классики или даже прямо шагнул из фольклора. В общем, так: у него была семья, дом, ну и работа, естественно, – словом все, что нужно для жизни. Но и «русская болезнь» тяготила его, накатывала периодически. Саша запивал иногда, хоть ненадолго, но крепко. А от церковной жизни он был, в общем, далек, как я понял. И вот (что примечательно, это было даже не спьяну, а в трезвое время) приходит Саша домой, а на кухне у него сидит... черт. И Саша с этим чертом сидел и с час примерно беседовал. То есть совершенно реально и обыкновенно, как с неприятным и каверзным гостем. Причем я хочу заметить, что Саша не был каким-нибудь балагуром или любителем приврать. За все время нашего с ним общения я ничего подобного за ним не замечал, а напротив – он производил впечатление сметливого, доброго и честного мужика. И вдруг – параллельно с какими-то повседневно житейскими рассказами – это сидение и беседа с бесом на кухне. Ужас! Ну кому расскажи – скажут «белочка». А он это рассказывал, как хоть и печальную, но совершенно реальную историю, произошедшую притом в трезвый период жизни. Я уж не помню суть того разговора, только Саша черту чем-то не угодил и, кажется, даже на него плюнул в конце концов. И вот с этого самого дня начались в Сашиной жизни неисчислимые беды, подробностей которых я тоже не помню. Но помню только, что он в результате остался без всего: без дома, без семьи, без работы, без вещей даже. И тогда он, как за последнюю соломинку, ухватился за Оптину. Пришел сюда, как и я – что называется, в чем нужда застала, да и остался здесь. На момент, когда мы с ним познакомились, Саша жил здесь уже около года. Был, как я уже сказал, крепок, жизнерадостен, бодр и трезв, так что трудно было и представить его в каком-то другом состоянии.

Вот и все, собственно, что я о нем могу рассказать. Больше ничего не помню, но знаю, что есть где-то на земле, если не помер, такой замечательный русский мужик. И хочется верить, что много еще есть и будет таких самородков, и это как-то радостно осознавать, честное слово. Если жив Саша – дай ему Бог здоровья и сил, а если помер – Царствие ему Небесное!

«Высокие гости»



Я стал рассказывать про наше общежитие и тогда уж сразу расскажу все, что так или иначе с ним связано, потому что довольно много времени мы в нем проводили, а особенно в выходные дни и в перерывах между работой.

Итак, в нашем бараке жило человек тридцать или около того. Недавно... Хо... Вот что значит «годы летят»... Подумалось, что недавно, а по ближайшем рассмотрении оказалось 14 лет назад. Ужас! Ну так вот, побывав здесь «недавно», то есть 14 лет назад, и попав в этот же «отсек», я обнаружил, что теперь он разделен поперек на две части, а тогда это просто был довольно просторный зал, как я уже сказал, по обеим сторонам которого стояли в два яруса койки. Были еще какие-то тумбочки. А в торце зала – импровизированный иконостас с аналоем, где по утрам и вечерам читали общее правило. Вот и все нехитрое описание нашего общежития. Общий умывальник был в коридоре, а уборная и вовсе – во дворе за стенами скита. Да, я уже говорил, что рядом с монастырем располагалась военная часть, так вот, судя по тому, что у нас было штампованное, с синими звездами и номерами постельное белье, а также простые, «солдатские» одеяла, а еще теплые, ватные штаны и телогрейки зимнего военного образца, которые выдавали тем, кто работал на холоде, – по всему этому можно предположить, что отношения руководства монастыря с руководством военной части были... хотел бы я сказать хорошие, но все-таки, вспоминая гору порезанных сапог и некоторые другие нюансы, скажем так, что отношения были сдержанными, а местами и настороженными. И вот примечательный эпизод, иллюстрирующий эту неоднозначность.

Однажды, когда выдался теплый и солнечный день, всех нас, кто был тогда в общежитии и не занят на послушании, мобилизовали на переноску дров. Эти дрова привезли и свалили во дворе, а мы уже носили их, куда было нужно, и кто-то из знающих складывал их в громадные поленницы. К слову, эти поленницы метров до четырех высотой в виде такой аккуратной горки я в Оптиной увидел впервые и они меня удивили. Почему я говорю, что их надо было еще уметь уложить? Да именно потому, что дрова были здесь не просто свалены в кучу, а именно сложены по кругу в огромную поленницу, и хоть я понимаю, что для человека знающего – это, наверное, дело неувидительное и несложное, но для крымчанина такое было в диковинку.

Итак, солнечным теплым днем мы таскали дрова и укладывали их в поленницу, когда на скитском дворе показалась небольшая делегация во главе с игуменом Мелхисидеком (Артюхиным). Не помню, кто еще входил в состав этой делегации, но самой примечательной была фигура какого-то военного, надо понимать большого чина, может быть, генерала, к которому главным образом и было обращено внимание отца Мелхиседека. Батюшка с доброжелательной улыбкой показывал «высоким гостям» строения и хозяйственное устройство скита, пруд с карасями, но вот что нас всех неприятно поразило – это довольно развязное и даже вызываю-

щее поведение этого самого генерала. Я уже не помню всех его реплик, но помню, что говорил он их нарочито громко, так, чтобы слышали все окружающие, в том числе и мы – трудники, с каким-то неуместным сарказмом. Помню отчетливое чувство неловкости за этого генерала и обиды за отца Мелхисидека, которого мы все уважали и искренне любили за его простоту и отзывчивость. Генерал этот, помню, по-барски (забавно, но именно по-барски) снисходительно и с кривой усмешкой обводил рукой монастырские владения и отпускал какие-то грубоватые и неуклюжие реплики. После чего сопровождающие военные дружно смеялись, а монахи несколько смущенно и вежливо улыбались. А что им оставалось делать? Думаю, от этих «высоких чинов» зависело на тот момент снабжение монастыря и решение других хозяйственных вопросов.

Вечером один из наших братьев-паломников стал невольным свидетелем завершающей части этого посещения. Паломник как раз возвращался из монастыря в скит, когда отец игумен радушно попрощался с генералом, тот отошел уже на несколько метров от монахов, грузно сел в свою служебную «Волгу», крикнул и беззлобно так, но с ностальгией произнес негромко: «Эх, расстрелять бы вас всех! Поехали...» Думаю, человеку, который это рассказал, можно верить, потому что никакого резона выдумывать что-нибудь ему не было. Таковы были реалии первых лет «постсоветской» действительности.

«Рецидивист»



... В дальнем углу у окна собиралась у нас целая компания «темных людей», как я понимаю, из бывших заключенных. Держались они несколько особняком, вполголоса решали какие-то свои дела, варили чифирь, играли «на интерес» в карты, а случалось, и пьяны бывали, но посматривали друг за другом, чтобы кто излишней бузой не привлек к себе внимание начальства. Словом, по отношению к прочей братии – это были такие «тихие бластные», если можно так сказать. С одним из них произошла любопытная история. Он в приличном подпитии во время какой-то торжественной службы, при большом стечении народа, затесался в храм в толпу и стоял на службе. А в это время уже был в монастыре отец Илий. Я уж не знаю, что там этот подвыпивший человек думал, но отец Илий, стоявший в тот момент к нему спиной, вдруг подозвал к себе одного из послушников и, точно описав этого человека, попросил, чтобы его вывели из храма. Что и было исполнено.

Но были и иные люди, хотя, казалось бы, из того же самого «контингента». Мне запомнился один человек... я и имени его не помню. Но я знал уже тогда, что он сидел и даже не один раз, одно слово – рецидивист. Уж не знаю, по какой статье он сидел, но на меня он произвел глубокое впечатление и вот почему. От него исходил особенный, глубокий и ясный свет покаяния... Думаю, многие поймут, о чем я говорю. Это непостижимые умом вещи, но явные, ощутимые, когда человек действительно кается, меняется не только весь уклад его жизни, но и сам он меняется, все его существо. Это так видно бывает и так явственно, пусть даже человек ничего не говорит. Таким был и этот мужик.

Он жил с нами в одном «бараке», но как-то почти совсем не общался с «блатными», да и с другими был не слишком общителен, но и нельзя было сказать о нем, что он как-то особенно замкнут. То есть просто молчит человек, но от молчания его исходит тишина и душевное умиротворение, так что не хочется и вторгаться в эту тишину со своими расспросами.

Мне вот еще какой эпизод запомнился в связи с этим человеком. В сторожке, где я дежурил как-то, кроме меня и сменщика оказался уж не помню почему этот мужик и мальчонка, кажется тот самый, что водил меня по грибы и который свободно перемещался по монастырю и появлялся то там, то тут. Помню, мальчишка этот щебечет, что-то рассказывает с горящими глазами и вдруг этот «рецидивист» протянул руку и с тихой улыбкой погладил его по рыжей, вихрастой голове. Просто погладил и все, но если бы вы видели, сколько в этом было всего... больше чем в романах иных. И любовь отцовская, и ласка, и покаяние, и молитва, и покров, и радость, и тишина светлого познания Бога и красоты душевной...

Изумительные иногда случаются вещи как бы мимоходом и даже без лишних слов. Удивительные бывают моменты, когда правда духовной жизни открывается помимо нашего участия и сил, как солнце пробивается из-за туч, озаряя и освещая землю, согревая своим теплом

и благодатью... И сколько таких встреч было, сколько таких людей, о которых и тогда не знал почти ничего и теперь не знаешь, но от которых осталось в душе ясное и чистое чувство тайны Божественного Промысла, тайны сокровенной человеческой жизни.

Наши страхования



С жизнью в скиту связано и одно почти мистическое воспоминание. Но начать этот рассказ придется с предмета весьма прозаического. Дело в том, что туалет – обычный дощатый нужник – находился тогда за оградой скита, за северными воротами и идти до него от общежития нужно было через весь довольно длинный двор. А теперь представьте себе глухую зимнюю ночь, завывание вьюги за окном, снег по щиколотку и трудника, проснувшегося вдруг по естественной необходимости. Ну это была целая мука – вылезать из теплой постели, натягивать на себя одежду: фуфайку, шапку, заматываться шарфом, обувать сапоги и выбираться в лютую стынь. Да еще и фонариков тогда ни у кого не было, редкостью почему-то были фонарики, так что если по скитскому двору, кое-как освещенному, еще можно было пройти по вытоптанной и частично заметенной уже снегом тропе, то за скитской оградой ты оказывался лицом к дремучему лесу и практически в крошечной темноте... Словом, поход этот по естественной нужде превращался в целое испытание.

Представьте себе, одним из вечеров читаем мы в общежитии какую-то старую, репринтного издания книжку с рассказами из оптинской жизни. Читаем вслух, как это было у нас в общежитии принято. И вот в одном из рассказов говорится о том, что некий монах в скиту заметил однажды ночью, что в северные ворота заходит торопливо женщина, молодая по виду и, пройдя по двору, быстро оглядевшись, заходит в келью одного из монахов, который жил один. Монах, свидетель этого беззакония, возмущился духом, возревновал о Господе и оскорбился. Но на первый раз ничего не предпринял. Другой раз ночью он снова увидел ту же картину и еще больше вспылал не только уже гневом, но даже отчасти и ненавистью, презрением к «падшему» своему собрату. А уж когда в третий раз он увидел эту женщину – поднял переполох, разбудил начальство и пришел с братией к «падшему» брату требовать справедливого возмездия... Но когда к тому решительно постучали и заспанный брат открыл – всем как-то сразу стало ясно, что он действительно ни при чем и ни сном ни духом, что называется, не ведает о причинах такого шумного явления братии в неурочный час. По строгом рассмотрении этого дела, неприятном, но тщательном обыске и после всех необходимых расспросов настоятель скита вынес вердикт: «Не доверяйте своим помыслам, осуждающим брата, и даже глазам своим не верьте. И уж тем более не таите свои подозрения, а сразу же выносите их на исповедь». И назначив сконфуженному «обличителю» законную епитимью, увещал его в духе святых отцов: «Зри в себя и довольно с тебя».

Вспоминаются по этому поводу слова преподобного старца Амвросия: «Подозрительности берегись как огня, потому что враг рода человеческого тем и уловляет людей в свою сеть, что все старается представить в извращенном виде – белое черным и черное белым, как поступил он с прародителями Адамом и Евою в раю».

В общем, такая нравоучительная история. Общий смысл ее я передал, как думаю, верно. Прочитали мы эту историю, подивились, пообсуждали и вдруг кто-то из наших говорит:

– Братушки... а та женщина... ну или бес, а ведь он это... северными вратами входил. Теми самыми, через которые мы ночами в туалет ходим...

И тут мы все, что называется, призадумались. И на несколько дней, а точнее ночей, в общежитии нашем воцарилось повальное страхование. Доходило до смешного: глухая, вьюжная ночь и вдруг сдавленный полушепот:

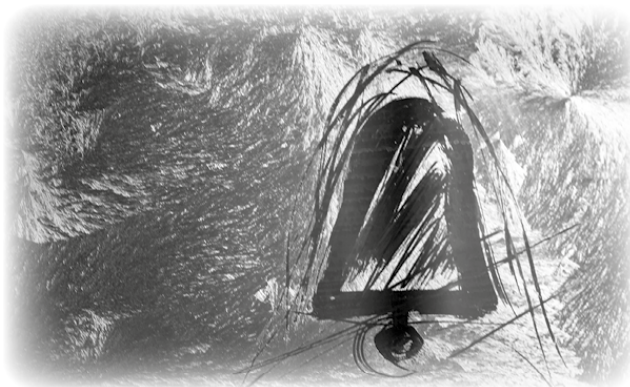
– Степан, а, Степан, ты это... в туалет не хочешь сходить?».

– А, чего? – всполошенно и не понимая еще ничего, отзывается несчастный Степан.

– В туалет, говорю, не хочешь сходить?..

– А, ну да... – понимающе отвечает Степан, протирая глаза, и начинает молча натягивать штаны и свитер...

Полунощницы



Отдельная история – это наше «паломническое» хождение ранним, предрассветным утром на полунощницу в монастырь. Все, кто побывали на этой службе, отзывались о ней с каким-то особенным трепетным благоговением.

Вот и я собирался очень долго на полунощницу, но, может быть, именно в силу необязательности ее посещения и в силу осознания драгоценности тех немногих минут сна, которые оставались до общего и обязательного подъема – я все не мог себя заставить подняться и пойти. Просыпался каким-то образом (точно ангел меня будил) в назначенный час, кажется, в пять утра. И томился, мучился в крошечной, но такой уютной темноте общежительного тепла мыслью о том, что нужно вот прямо сейчас вытаскивать себя, как Мюнхгаузен за волосы, из теплой постели, одеваться, выходить в непроглядную зимнюю стынь, брести через лес по колено в снегу, чтобы поспеть к службе. Осознание всего этого просто сваливалось на мою несчастную голову и неумолимо опрокидывало обратно в сон. А когда я просыпался на рассвете вместе со всеми, со звоном колокольчика – то мучился горьким осознанием очередного провала, упущенного случая, приходил в самое расстроенное и унылое состояние по причине своего безволия и никчемной ущербности. И стоило потом немалого труда, чтобы это настроение довольно неприятное как-то преодолеть и рассеять. Тогда я исполнялся решимости в следующий раз уж непременно сходить на полунощницу, но и в следующий раз все повторялось, так что создавался уже какой-то замкнутый круг, до слез обидный, который неведомо было, как разорвать...

Я уж не помню, как мне удалось все-таки из этого порочного круга вырваться, но смутно припоминаю, что это произошло с помощью кого-то из моих товарищей по общежитию, кто не бросил меня засыпающего во время очередной «попытки», а растормошил, поднял, заставил одеться и выйти из скита. И вот тут у меня отложилось отчетливо в памяти... даже не ума, а сердца, души, какая-то совершенно необъяснимая, небесная радость от этой самой полунощной службы.

Помню, каким событием было само вхождение в храм. После лютой стужи, часто с ветром и секущей снежной крупой ты оказывался вдруг в теплой и уютной тишине храма. В темноте тихо и кротко мерцали разноцветными огоньками теплящиеся лампы. Людей было еще совсем мало, и сама эта пустынность, какое-то совершенно необыкновенное чувство пребывания на грани глухой ночи и зарождающегося дня, чувство духовной сокровенной тишины – всецело покоряло и очаровывало душу. Потом раздавался негромкий и торжественный возглас, и монахи, вся братия со свечами в руках выходили на середину и начинали петь: «Се, Жених грядет в полунощи и блажен раб, егоже обрящет бдяща...» Какими словами передать эту атмосферу сдержанной и святой простоты, чистоты и неотмирной радости, всецелой устремленности к Богу? Вот именно, что описывать тут особо нечего, но впечатление от этих пусть редких,

но всегда таких значительных посещений полунощницы в Оптиной пустыни осталось у меня самое глубокое и светлое на всю жизнь. А напев тропаря «Се, Жених грядет в полунощи...» со времен Оптиной стал для меня одним из самых любимых напевов.

Но и в этих «полуношных» походах на службу из скита в монастырь не обходилось порой без курьезов. У нас за монастырской оградой, возле паломнической трапезной околачивался постоянно бродячий пес. Впрочем, хоть он был ничей, но бродячим его в собственном смысле нельзя было назвать, потому что он как-то уже принюхался и приспособился к жизни паломнической трапезой и стал здесь вроде как своим. Я не помню его кличку, но кличка была, все этого пса знали, относились к нему большей частью добродушно, подкармливали, и пес отвечал взаимностью, был малым покладистым и смиренным, позволял потрепать себя за ухом, попрыгивал, поигрывал, вилял хвостом, встречая трудников и паломников, и вот так жил себе. Как-то глубокой ночью, под утро я собрался в очередной раз на полунощницу. Очевидно, это было еще до того, как у меня появились сапоги, вероятно, средней осенью, потому что я, собираясь в потемках общежития, надел туфли, которые не помню уже где достал и которые сменили в свое время сандалии. Собрался, вышел и бойко пошел через лес в монастырь. Прохожу в потемках мимо паломнической трапезной, и вдруг откуда ни возьмись появляется этот самый пес, беззлобно так, но настойчиво и уверенно хватает меня за штанину и начинает тянуть, оттягивать от входа в монастырь. Мне это не показалось, а очень даже конкретно и настойчиво пес меня оттягивал от входа. Кое-как я от него отделался и удивленный, даже как-то немного встревоженный, пришел в храм на полунощницу. Стою себе, молюсь, но когда в какой-то момент в храме включили свет и я взглянул на свои ноги, оказалось, что они обуты в разные туфли. Одна – черная, моя, а другая – коричневая, неизвестно чья. Вот тебе и псина неразумная, подумал я тогда с изумлением. Пришлось возвращаться в скит, чтобы какой-нибудь человек, проснувшись по звонку, не оказался без обуви...

Отец Феофил



Вот всплыло еще одно мимолетное, но важное, как мне кажется, воспоминание, относящееся к жизни в скиту. Даже совершенно конкретная зарисовка. Это стоящий посреди двора, оживленно жестикулирующий и разговаривающий с паломниками келейник отца Илия – иеродьякон Феофил. Он сейчас уже убежденный сединой архидиакон и зовут его Илиодором. Но тогда он был еще достаточно молод, думаю лет около сорока, с характерными, восточными чертами смуглого лица, с черной густой бородой, но самым главным в отце Феофиле была его изумительная манера говорить о духовной жизни так просто, уверенно и задушевно, точно он сам был свидетелем всего, о чем он рассказывал, начиная от событий ветхозаветной давности и заканчивая историями из жизни новозаветных святых отцов. Как будто он только что после дружеской, теплой беседы проводил за ворота апостола Павла, Иоанна Дамаскина или Григория Паламу и, возвращаясь, встретил паломников, с которыми решил поделиться содержанием недавней беседы. Поверьте, другого такого человека я не встречал. Причем рассказы его начинались всегда внезапно и очень просто.

Скажем, приехали в воскресный день на автобусах паломники, вошли пестрой гурьбой на скитской двор (тогда такое было возможно), а тут им случайно встречается отец Феофил, который безо всяких экивоков и предисловий просто и задушевно начинает рассказывать о духовной жизни, и эти паломники стоят, что называется, раскрыв рот, и слушают отца Феофила, потому что рассказывать и говорить с людьми он действительно умел.

Вообще он был (да и остается, я думаю) личностью яркой, неординарной и в моей судьбе сыграл значительную роль. Он по благословению старца занимался тем, что непрестанно распределял и раздавал всякие приносимые отцу Илию гостинцы, подарки и продукты... Причем распределял по разным адресам, то есть в прямом смысле отправлял бандероли, посылки и письма, но за всей этой видимостью суеты он каким-то непостижимым образом сам никогда не бывал суетлив. Порывист и скор – пожалуй, энергичен – да, но суетлив – никогда. Про него говорили, что в мирской жизни он был директором довольно крупного армянского ресторана, и если об этом можно было догадываться, то только по его решительному и деятельному характеру, а в отношении личной, монашеской жизни...

Приведу один случай. Я тогда проходил послушание в паломнической трапезной. Обед закончился, паломники ушли, столы еще хаотично заставлены множеством грязных тарелок с остатками трапезы, и тут порывисто с какими-то попутными бодрыми репликами появляется отец Феофил. Он заходит в зал, где трапезничали паломники, что-то рассказывает и – о ужас – на ходу хватая чуть ли не с тарелок и ест какие-то объедки. Похватал, подкрепился, лег на лавку прямо возле стола, накрыл лицо мантией и моментально уснул. Через пятнадцать минут встал как ни в чем не бывало и так же с прибаутками и шуточными сентенциями отправился

дальше. Вот это я видел сам. Позже, когда я узнал, что он был директором ресторана, понял, что отец Феофил, во-первых, сознательно смирялся, ведя себя таким «странным» образом, во-вторых, спал урывками и очевидно уставал страшно, просто не показывал этого никому.

С отцом Феофилом связано еще одно воспоминание... А точнее, даже не с одним только отцом Феофилом, но и с монахом, имя которого я, увы, не помню. Этот старенький монах был без ног и в храме всегда сидел на тележке. Именно не на коляске, а на тележке. Старшее поколение эти тележки помнит, конечно: тогда, лет 30–40 назад колясок инвалидных не было или почти не было, и инвалиды без ног, в основном ветераны войны, которых тогда еще было очень много, передвигались на таких тележках. Они представляли собой небольшую деревянную доску на колесиках, а в руках у инвалидов были обитые резиной бруски, которыми они отталкивались от пола. Этот монах-инвалид в храме всегда сидел и молился на такой платформе-тележке.

И вот я собрался в баню... Как-то, я помню, попадал туда в неурочные дни, может быть, это было связано с моими послушаниями. Когда я оказался в бане – туда же пришел отец Феофил, а вернее, он прикатил на тележке помыть этого монаха. И когда он стал его раздевать, оказалось, что под множеством одежд у этого монаха – самые настоящие свинцовые или просто железные вериги. Помню большой тяжелый крест на цепях и что-то еще, какой-то пояс... Я просто опешил, честно говоря, ничего такого я никогда не видел. Отец Феофил попросил меня (конечно так, чтобы сам монах об этом не слышал) никому об этом не рассказывать, а потом еще пояснил, что вот-де, монаха этого тяготила мысль, что все на службах стоят, труд какой-то приносят Господу, а он – монах, вроде как не трудится совсем, а сидит на своей тележке... Поэтому он взял благословение носить вериги, чтобы хоть как-то «отяготить» плоть... Рассказываю я об этом добром монахе, так как с тех пор прошло уже 25 лет, и если учесть, что монаху тому было под семьдесят, то не думаю, что он сейчас жив.

Впрочем, если жив – дай Бог ему здоровья и сил, а если почил – Царствие Небесное и вечный покой!

Но вернусь к отцу Феофилу. Он бывал иногда и строг, причем строгостью такой – восточной, я бы сказал, горячий, порывистой, так что многие его и побаивались даже. Был такой эпизод. У нас в общежитии появился паренек, что называется «замолившийся». Бывает такое, особенно в начале, когда человек от безбожия приходит к православной жизни и его осеняет такая благодать, такая ревность возгорается в сердце, такое желание жить строго по правилам, что эта ревность, как ее еще называют «неофитская», порой вредит человеку. Вот таков был этот паренек: лохматый, неопрятный, «смирненно» согбенный, сосредоточенно погруженный в себя, он ни с кем не общался, зато непрестанно молился и по ночам в общежитии иногда можно было услышать стук его лба об пол и увидеть в смутном свете лампы, как он перед нашим «иконостасом» истово кладет земные поклоны. Позже я узнал, что такое состояние может быть, как это ни странно, признаком гордости, так что святые отцы говаривали: «Если видишь юношу, восходящего на небо, – сдерни его за ногу на землю». Вот пример такого «сдерживания» (думаю, сознательного со стороны отца Феофила) я и наблюдал однажды из окошка сторожки на центральном входе, где в то время нес послушание.

Итак, сижу я перед окошком, смотрю во двор и вижу, как отец Феофил на центральной дорожке крошит хлеб и кормит голубей. А в это время идет, «смирненно» склонив лохматую голову, весь погруженный в себя тот самый паренек. И вот, ничего не замечая вокруг, он проходит напрямик по этим крошкам. И тут отец Феофил хватает его и начинает трясти со словами: «Ты что, не видишь, куда идешь? Здесь птичек кормят! Балда стоеросовая...» Ну и все в таком роде. Словом, трясет его, ругает и, как я понимаю теперь, «выводит из себя» – из того опасного состояния самообольщения, вывести из которого порой действительно может только какая-то встряска... Вообще глубинная, монашеская жизнь очень сложна и непонятна большинству обывателей, а в то время, когда народ наш только начинал воцерковляться, это

было особенно очевидно. Поэтому эта трепка ни в чем не повинного человека, крик на него и даже как бы гнев – все это могло вызвать смущение у постороннего вроде меня. Но я как-то интуитивно понимал, что отец Феофил не просто разошелся, а пытается привести паренька в чувство, а позже мне это прямо объяснили и другие, более опытные братья.

Был и другой случай. Когда отец Феофил задал трепку другому человеку, но уже совсем по другому случаю. Если в случае с пареньком он попросту выводил его из состояния прелестного «созерцания», то в этом, втором случае отец Феофил боролся с таким довольно распространенным, но трудно распознаваемым явлением, как «духовное» тунеядство, паразитизм под видом «высокодуховного» бродяжничества. Был у нас в монастыре такой человек. То есть он был не один, такие люди появлялись периодически, но этот задержался как-то дольше других. Был он одет в какие-то лохмотья, вел себя странно, общим правилам общежития не подчинялся и все это, как я уже сказал, облекалось в тогу высокой, непонятной многим и «непостижимой» духовности. К слову, я сам несколько раз попадался на такие уловки и, думая, что имею дело с особыми, «божьими» людьми, оказывался в неприятных и смутных, расстраивающих душу обстоятельствах и ситуациях.

Вот отец Феофил каким-то непостижимым образом умел отличать подлинных странников, юродивых и Божиих людей, о которых он заботился с какой-то просто материнской нежностью, от всяких проходимцев, кликуш и дармоедов. И я, как уже сказал, был однажды свидетелем разноса, который он учинил одному из таких «юродивых». Когда тот в неуточный час, по заведенному им правилу пришел в трапезную пообедать по особому «юродивому» распорядку и попал на отца Феофила. Тот его за грудки не тряс, как того юношу, топтавшего голубиные крошки, но речь его была прямой и разящей. И все, о чем я мог только робко догадываться в отношении нашего «юродивого», отец Феофил выдавал с прямотушием и простотой, на которые совершенно нечего было возразить.

– Почему не работаешь как все? – громогласно и гневно вопрошал отец. – Почему не обедаешь в положенное время со всеми паломниками? Почему не подчиняешься монастырскому распорядку?

Ну и так далее...

Признаться, уважая отца Феофила, я сам его маленько побаивался в первое время, думая, а вдруг он и мне такую трепку задаст! И ведь можно было найти, за что... Тем более изумительным оказалось для меня его отношение, когда я сошелся с ним волею обстоятельств чуть ближе.

Надо сказать, что семья моя тогда была неверующей и даже некрещеной, только я принял крещение самостоятельно в 1988 году, да и то не по глубокому религиозному убеждению, а скорее по интуитивному влечению к истине и без особых, увы, перемен в своей жизни. Но вот теперь – в Оптиной та перемена со мной случилась столь явственно, что я непременно хотел, чтобы и мои родные тоже пришли к православию. В монастыре была церковная лавка и вот я вырезал вручную четки из можжевельных и кипарисовых веточек, привезенных из Крыма, сдал эти четки в церковную лавку, а на вырученные деньги купил какую-то книжицу о православии и решил ее отправить домой.

Вот в этот момент я и разговорился, уж не помню каким образом, с отцом Феофилом. Помню только, что у меня не было денег на бандероль и отец Феофил повел меня с этой книжицей в храм, зашел в алтарь, где в это время молился отец Илий, посоветовался с ним и, выйдя, попросил у меня книжицу и домашний адрес. А через неделю мои родители получили посылку, где кроме множества православной литературы и сопроводительного, очень теплого и доброжелательного письма, написанного самим отцом Феофилом, оказались рушник и две венчальные иконы, пригодившиеся нам через полгода, когда мы с Аленкой – будущей моей женой, которую я тогда еще не знал – венчались в Одессе. Вот я сейчас, почти двадцать пять лет спустя пишу эти строки, а иконы эти из той посылки стоят рядом со мной в святом углу и перед

ними теплится лампада – во многом как знак неизреченной благодарности и отцу Феофилу, и его духовнику – схиархимандриту Илию.

Батюшка Илий



Знаете, так бывает – человек о тебе не помнит и не узнаёт при случае, но ты сам считаешь его дорогим, родным человеком. Не по разуму только, но по чувству глубокой духовной благодарности. Тогда – четверть века назад было гибельное время, когда все рушилось в жизни моей страны, моей семьи, да и в моей лично, и сдержать этот крах было никак невозможно. Я убежал тогда в Оптину пустынь именно потому, что совершенно уже ничего не мог изменить и просто «бросился» в объятия Божии. И вот – впервые встретил отца Илия, который меня утешил и поддержал.

За те несколько месяцев, что я прожил тогда в Оптиной, трудился, молился как мог, я несколько раз подходил посоветоваться со старцем. И всегда меня удивляло, как просто он говорит о самых сокровенных и важных вещах... как бы между прочим. А позже я узнал, что вот так же просто, совершенно беззащитно старец говорит слова прямо пророческие. Кроме того, батюшка обладал и обладает редчайшим в наше время даром утешения скорбящего и мятежного сердца. И за это ему глубокий поклон. Но главное, отец Илий молился тогда, я это знаю, о нашей семье, о ее спасении. И теперь я не понаслышке знаю, что значит: «Много может молитва праведного». Потому что вскоре после моего возвращения из Оптиной пустыни окрестились мои родители, брат, жизнь как-то стала налаживаться, а еще через десять лет я непостижимыми путями стал священником и опять же не без участия отца Илия.

А случилось это так. После первого моего посещения Оптиной прошло десять лет. О священстве я и не помышлял. Но зимой 2002 года материальное положение нашей семьи стало особенно трудным, накопились долги за ЖКХ, и я поехал по приглашению знакомого в Москву на заработки. Между тем начались новогодние праздники, и в самом начале января я совершенно спонтанно, что называется «по наитию», сел на автобус и поехал в Оптину. Приехал вечером, устроился в гостинице, а утром в храме попал на исповедь к отцу Илию. И вот он мне как бы между делом говорит: «Езжай-ка ты домой... Придешь к своему архиерею правящему и скажешь: “Хочу послужить Богу”. Будешь дьяконом... Рукоположишься...» Вот так просто. И я сделал точно так, как сказал отец Илий. Через пять месяцев меня рукоположили в дьяконский сан, а еще через полтора года – в священнический...

Мне приходилось слышать мнение, что отец Илий на самом деле никакой не старец, а просто старенький, добрый монах... Что на это сказать? Уже в том, что бытует такое мнение, несомненно, есть заслуга и самого отца Илия, который сам себя, конечно, никаким старцем не считает и являет образец подлинного смирения. Но по плодам общения с ним и по рассказам множества других людей – могу сказать одно: «По вере вашей да будет вам...»

К слову, директор издательства «Родное Слово» Володя Шпатаков, духовное чадо отца Илия, рассказывал мне о нем истории практически «хрестоматийные», так что мы с Володей

снова и снова удивлялись величию Промысла Божия и радовались, что у нас, в наше время есть такой удивительный старец.

Как-то Володя оказался в Оптиной и стал свидетелем того, как к отцу Илию прибыла делегация серьезных коммерсантов откуда-то из Сибири. Кто-то им сказал, что для того, чтобы дела шли «фортово», надо делиться с «церковным авторитетом». В качестве последнего посоветовали отца Илию. Коммерсы прикатили на своем «Ленд Ровере» и от всей души предложили батюшке, по выражению Володи, не «котлету» даже, а «пакован» – объемистый и увесистый пакет с деньгами.

– А-а... ну, хорошо, хорошо... – пробормотал батюшка по своему обыкновению, как будто рассеянно. – Володя, возьми, пожалуйста...

И вот, ходит Володя за батюшкой по монастырю с этим увесистым «пакованом». Между тем подходит к отцу Илию игуменья какого-то монастыря. Подходит и расстроено просит:

– Батюшка, помолитесь, пожалуйста... Купили медные листы крышу на храме крыть, а рабочим заплатить нечем. Рабочие с Украины, бригада хорошая и если их сейчас отпустить, то они уже только следующей весной приедут. Да и то еще неизвестно... Помолитесь, батюшка...

– А, да, да... – забормотал смиренно батюшка и добавил:

– Володенька, а ну, где там тот пакет, что коммерсанты оставили?..

Любопытно, что через полгода Володя снова оказался свидетелем разговора между батюшкой и той же игуменьей.

– Ну что, родная, хватило тебе денежек?..

– Хватило, хватило, батюшка! Спаси Господи! Не только крышу покрыли, но и окна в храме вставили. И все равно еще деньги остались. Хотим, вот, два трактора прикупить... небольших таких.

– А, да, да... хорошо! Вы «Беларусь», «Беларусь» берите. Есть такие небольшие трактора, вот их и берите...

А вот еще одна история, свидетелем которой был Володя. Тоже с коммерсантами, но с другими. Этих батюшка никак не хотел отпускать на «стрелку». То лобик им помажет, то на службочку позовет, то на трапезу... Володя смотрит – те перемигиваются уже между собой. Мол, сейчас из кельи батюшки выйдем, люди его окружают, мы втихаря и свалим. Володя их в сторонку отвел и говорит: «Даже не вздумайте! Благословит отец, тогда и поедете». Словом, коммерсанты на «стрелку» безнадежно опоздали. А через три дня один из них звонит Володе и рассказывает, что на той «стрелке» его подставили, разгромили офис, и попадись он сам, может быть, его уже и в живых бы не было...

Да укрепит Господь дорогого батюшку, дарует ему силы, терпение и ту особую, духовную радость, которой он с такой чуткой любовью и щедростью делится со страждущими людьми!

Послушник Стефан



Из монастырской братии вспоминается мне послушник Стефан, который был очень юн, а еще как-то особенно, отчаянно неказист. Почему-то мне представляется, что он хромал, как известный горбун из «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Когда он начинал читать вслух в храме, было ощущение какого-то невероятного издевательства на грани кощунства. Так он читал: неимоверно коряво, но притом громко, и ничуть не пытаюсь эту свою корявость как-то скрыть или сгладить. Он как бы говорил всем своим видом: ну вот я такой и что теперь, убить меня, что ли... О Стефане было известно, что он из неблагополучной семьи и мать привезла его и оставила в Оптиной пустыни на иждивении монахов. Фактически бросила. Было ему тогда лет двенадцать, не больше. На момент нашего знакомства он прожил в монастыре около пяти лет.

Никакого рвения к монашеству Стефан не обнаруживал, все ему казалось здесь скучно и пусто. Было даже ощущение, что он точно по краю ходит русского нашего надрыва и может в любой момент что-нибудь такое отчебучить, от чего всем станет не по себе. В общем, его было жалко. Но и не было ощущения, что он что-то делает нарочно, назло, а скорее «по естеству», никак, впрочем, не пытаюсь это свое естество обуздать или исправить. Видимо, в силу этой крайней расхлябанности, как признавался сам Стефан, было у него «послушание» от Оптинских духовников: есть, пить и спать в любое время и в любом количестве.

Это как в Патерике: «Брат сказал авве Арсению: что мне делать? меня возмущают помыслы, внушая: ты не можешь ни поститься, ни трудиться; посещай хотя бы больных, ибо и это – дело любви. Но старец, зная козни демонов, говорил ему: ешь, пей, спи, только кельи своей не оставляй. Ибо он знал, что терпение в келье приводит монаха в должный порядок». И Стефан, надо полагать, хоть в этом «снисходительном послушании» находил для себя утешение в «подневольно-каторжной» монастырской жизни.

Он действительно день-деньской слонялся по кухням и трапезным. Причем он везде проходил совершенно свободно, все знали о его чудаковатости, о чудесном «благословении» и ни в чем ему не отказывали. Сначала в монастырскую трапезную зайдет, съест чего-нибудь или с собой прихватит. Послonyaвшись по монастырской трапезной и кухне, поковыляет в паломническую трапезную и кухню и там еще проведет какое-то время таким же образом, а потом – и вот здесь уже ближе к теме рассказа – Стефан проходил по всем монастырским службам с «инспекцией». То есть опять же, как он утверждал, ему было поручено проверять во всех сторожках, подсобках и каптерках – нет ли где запрещенных электроприборов. А конкретнее – самодельных кипятильников. В случае обнаружения таковых, как он сам утверждал, было у него предписание эти электроприборы изымать. Параллельно (и что меня особенно веселило) с совершенно серьезным и деловитым лицом он «изымал» излишки сахара, чаю, сгущенки,

печенья и прочего съестного, аргументируя тем, что если кипятильника нету, так зачем и чай. А без чаю и сахар зачем со сгущенкой и печеньем. Одно искушение... Удивительно, что при всем том Стефан не вызывал какой-то неприязни и отвращения. Просто он был вот такой странный оптинский человек с непростой судьбой и особенным «щадящим» послушанием.

Наш рассказ относится ко времени глубокой осени 1992 года. Я тогда часто дежурил в утлой каморке возле северных, «дальних» ворот монастыря. Это были ворота из хоздвора, а вернее, из хоззакутка на территории монастыря, потому что собственно хоздвор находился в другом месте. Целый день время от времени через эти ворота въезжала и выезжала строительная техника, трактора, но главное, от этих ворот начинался тот самый «хоззакуток», где стояла вся эта техника, а также цистерны с солярой, и надо было периодически выходить и прогуливаться по двору, чтобы никто ничего не свинтил, не слил и не утащил. Время было такое – простое и вместе с тем шальное. В монастыре и вокруг него обитала масса самого разного люда: и бродяги, и работяги, и казачки сомнительные, и люди, недавно освободившиеся из мест заключения... Словом, нужен был этот присмотр, хоть на деле толку от меня было мало, и в случае чего я мало чем мог быть полезен. Но сидел с напарником больше так... для порядку. Ну и для того чтобы, если уж действительно что серьезное – сообщить начальству. Помню, один мужичок, называющий себя казаком, а на деле просто лихой, отчаянный забияка и матерщинник, решил увести со двора для каких-то своих нужд трактор. Увести на время, разумеется, например, где-то подшабашить, а потом вернуть. Конечно, это было чистой воды самоуправство, и когда он подъехал к воротам – я вышел и спросил: кто его благословил? Ах, жаль словами не передать, как он на меня посмотрел... Странно только, что в морду сразу не дал. Просто «испепелил» взглядом, прошел мимо, открыл ворота и выехал... А я постоял, подумал и... не стал жаловаться. Решил, что все равно он через час или два вернется. Да так оно и случилось... Вот такая у меня была служба.

В каморке мы сидели по двое, причем устроена она была таким образом, что один мог лежать на тахте, а второй вынужденно должен был сидеть на стуле перед маленьким столом с телефоном на нем и крохотным оконцем над ним. Сидеть и смотреть на двор, где большую часть дня в шуме бетономешалок, меся грязь, сновали рабочие с лопатами в стеганых армейских штанах и ватниках, шла какая-то строительная работа, и в общем-то так мы и коротали время – один лежал на кушетке, второй сидел на стуле и мы разговаривали, как водится, о судьбах мира... Или ночью один спал, а второму приходилось несладко, потому что всякая деятельность и разговоры прекращались и нужно было просто в ночной тишине сидеть и смотреть в это оконце на небольшой, освещаемый прожектором участок хоздвора. А это было мучительно, просто невыносимо до того, что глаза отказывались смотреть и даже если оставались открытыми, то видеть уже не могли. Спать хотелось так невероятно и отчаянно, что все расплывалось перед глазами и просто титанические усилия приходилось прилагать к тому, чтобы сконцентрировать зрение. Но через пять минут оно опять «расплывалось»... И так продолжалось час или два, не помню уже сколько длилась «смена» и через сколько мы менялись. Но борьба со сном была в самом деле мучительной.

В одну из таких ночей я как раз сидел у окошка, вдруг в сторожку громко и настойчиво постучали. Это был Стефан. Он всегда старался появляться неожиданно и шумно, пытаясь произвести эффект внезапно нагрянувшей «инспекции». Я открыл, и Стефан ввалился в сторожку с большим недовольством и со словами: «Что, дрыхните... а там, между прочим, кто-то ворует что-то. А вам все нипочем».

Я надел фуфайку, и мы вышли со Стефаном из сторожки. Он ковылял впереди, я за ним. Стефан шел, стараясь ступать неслышно, видимо желая застать вора врасплох. Тут надо пояснить, что прожектором освещалась только часть хоздвора, ближайшая к воротам, а дальняя его часть оставалась ночью во тьме, и ходить туда, честно говоря, не очень хотелось. Но на этот раз мы шли именно туда. И вот, еще издали послышался какой-то странный, довольно

громкий и однообразный шум. Как будто кто-то шебуршит в листве дерева, причем открыто и ничуть не таясь. Шебуршит шумно и дерзко. Но для чего, зачем? Кто и для чего забрался на дерево ночью? Понять, что там происходит, было никак невозможно. И только когда мы подошли вплотную к деревьям, стало все понятно. Причем настолько, что не было никакого смысла что-то объяснять или оправдываться. С деревьев сплошным потоком сыпалась и сыпалась листва. Это была ночь, когда впервые ударил крепкий мороз...

Так мы и стояли молча с послушником Стефаном, созерцая, как сыплется с деревьев листва. А в черном морозном небе мерцали звезды. Вот и все. Ничего особенного. Только почему-то осталось в памяти сердца навсегда: морозная ночь октября. Темный монастырский двор с какими-то тракторами, цистернами и уставшей, отработавшей свое техникой, тишина и непрерывный шум падающей листвы. И непривычно долго молчащий, неподвижный Стефан. О чем он думал тогда? Где он сейчас, что с ним?..

Корабль спасения



Вспомнился еще один эпизод, по-видимому ни с чем не связанный, но четко запечатлевшийся в душе. Это был сумрачный, дождливый день и праздник иконы... Вот только я не запомнил какой. Иконы Богородицы, кажется, Калужской, которую привезли в Козельск. Из монастыря автобус с паломниками должен был отправиться на поклонение этой иконе. Почему-то запомнил имя главного организатора этой поездки. Ее звали матушка Илария. Думаю, она была игуменьей какого-то монастыря. Да это и не важно теперь. Помню, мы собрались на территории монастыря, сели в автобус и поехали. За окном было как-то особенно сумрачно, дождливо, неприятно, а мы все ехали и ехали. И вот произошел эпизод, в общем, не очень-то понятный для меня, но натолкнувший тогда на определенные размышления. А именно...

Уж не помню, где мы добрали еще каких-то паломников, отъехали, едем, и один какой-то человек, по-видимому опоздавший, бежит, кричит и просит, чтобы автобус остановился и его взял, кажется, и паломники кричали водителю, но не помню сейчас по какой причине – автобус не остановился, а все ехал и ехал, пока этот человек не отстал окончательно. И вот опять тишина, но уже какая-то иная, огорченная и недоуменная, что ли... Шум мотора, стук дождя в окно, а мы все едем и едем, и я думаю о том, что автобус наш похож на Церковь. На корабль Церкви Христовой, в который каждому дается время и возможность сесть и поплыть. Но если человек беспечен, если он опаздывает... то, как это не покажется жестоким, – корабль отчаливает и плывет без него и невозможно тогда уже что-то исправить... Думаю, это в первую очередь относится к тем, кто имел возможность на протяжении всей своей земной жизни прийти к вере, принять крещение, сделаться членом Церкви, но так и не сделал этого. Кто-то сознательно, по ожесточенному убеждению, кто-то по беспечности, но факт остается фактом – после смерти попасть на корабль будет уже невозможно. На такие грустные размышления натолкнуло меня это событие.

Но вскоре мы приехали. И вот, старенький, уютно-ветхий храм. Почему-то кажется, что службы не было уже, мы приложились к иконе и потом просто сидели в благословенной тишине храма. Я даже задремал. Ну а потом – поехали обратно... Вот и вся история, но этот случай запомнился именно как образ Церкви и нашего отношения к Ней.

Взлеты, падения и покаяние



Почему-то я не помню имени того паренька, хоть мы с ним и общались довольно много и по-приятельски.

История его такова. Он возлюбил христианскую жизнь и пришел в какой-то монастырь (не помню уже в какой) с твердым намерением стать монахом. Стал жить и строго исполнять все правила, приличествующие его положению сначала паломника, затем трудника и, наконец, послушника. И все это время его осеняла такая неизреченная благодать, что он буквально летал на крыльях, как он и сам об этом рассказывал. Все ему было в необычайную радость, в охотку: и слезы молитвенные, и покаяние, и долгое стояние на службах, и послушания, пусть даже самые суровые, вроде чистки коровника – все ему доставляло необыкновенную духовную радость. Может быть, это была та самая «призывающая благодать», которая действительно осеняет с необычайной силой неопитов, искренне желающих жить по-христиански. Это вроде восшествия Иисуса Христа на гору с учениками, когда Господь показал им славу Свою «якоже можаху», дал вкусить неизреченную благодать, настолько, насколько им это было возможно. Открыл и показал во многом для того, чтобы они в страшную минуту распятия и смерти Учителя на кресте укреплялись и воодушевлялись воспоминанием о Его Божественной славе.

Нечто подобное бывает и с людьми, в зрелом возрасте приходящими к христианской жизни. Но здесь важно правильное духовное руководство и правильное, смиренное состояние ума и сердца. Потому что, по утверждению тех же отцов, благодать со временем отступает от человека с тем, чтобы он научился сознательно преодолевать трудности, тесноту и душевную тугу, волею своею устремляясь к Богу и утверждаясь в вере и верности. Если же нет смиренного понимания того, что благодать – это именно дар любви, а никакая ни «заслуга», если нет понимания того, что нужно еще крепко потрудиться, чтобы стать не только достойным восприемником, но и хранителем и сопричастником Божественной благодати – то человек может незаметно для себя впасть в прелестное состояние самомнения, гордости и превозношения. Вот тогда – беда!

Так или иначе, но паренек этот «летал на крыльях», и ни много ни мало это длилось два года. И вдруг... Вот именно вдруг (как он рассказывал), то есть в один миг вся эта неизреченная и преизбыточествующая благодать его совершенно оставила, отошла от него, исчезла словно ее и не было никогда и паренек этот оказался в неимоверно скучном, мрачном, невыносимо унылом мире будничной монастырской жизни. Он метался в ужасе туда и сюда, пытался понять и выяснить, что с ним происходит. Но это был, надо понимать, конец восьмидесятых или самое начало девяностых, а монастырь небольшой, без опытного духовника. В общем, никто ему тогда не помог, и случилось ужасное – он что называется, «сорвался в штопор», его понесло. Он больше не мог соблюдать даже элементарные монастырские правила и установления, стал

курить, выпивать, пустился в разные губительные авантюры, а под конец и вовсе убежал из монастыря. И страшным апогеем его падения был момент, когда он в необъяснимой ярости, как ему казалось, «обманутый», топтал ногами сорванный с груди нательный крест...

Всю эту историю он мне рассказал, когда я заметил, что он и транзистор иногда слушает в общежитии и покуривает за монастырской оградой... Но парень он был добрый и искренний и вот как-то, угадав мое смущение, он рассказал мне эту историю, завершив ее словами: «Димыч, брат, ты не смущайся и не осуждай меня... Поверь, то, что ты видишь... тот образ жизни и поведения, которого я придерживаюсь, – это уже начало исцеления и радость для меня, потому что ты представить себе не можешь, как я жил эти несколько лет после монастыря. Я сейчас снова стал возвращаться к вере, по зову сердца приехал в монастырь, и для меня словно заново начинается жизнь. Пусть я пока не могу вот так взять и совершенно ее поменять. Но я чувствую, что это случится, я чувствую, что без монастыря, без православия не могу жить». И действительно: он верил в возможность своего духовного возрождения и было видно, что он говорит это все от чистого сердца и не лукавя. Что с ним теперь, как сложилась его жизнь, я не знаю, но так хочется верить, что он окончательно обрел себя в православии.

К слову, этот случай не был единичным.

Позже, когда я работал на хоздворе, мне показывали послушника, как мне тогда казалось, очень пожилого, а сейчас я думаю, что лет пятидесяти, не больше, самого обычного на вид, исполнительного и немногословного, о котором известно было, что пару лет назад он жил в Оптиной. И «подсел» на какую-то свою, а вернее, бесовскую думку и однажды в конце службы, в храме, после отпуска, когда хор должен пропеть «аминь», то это «аминь» громко, на весь храм «провозгласил» этот самый послушник, а затем объявил во всеуслышание, что он познал смысл жизни, что в монастыре ему делать больше нечего и надо ему уходить в мир. Братья в ужасе стали его уговаривать, понимая, что человек впал в прелесть, объясняли, что это следствие гордости, но он плакал, утверждая, что, напротив, он не гордый, а очень даже смиренный, но в монастыре ему больше делать нечего. Что тут поделаешь – с горечью отпустили его на волю. И вот – та же история: намаявшись в миру и, кажется, даже «сходив в женитьбу», он вернулся с покаянием и жил с тех пор, ничем не выделяясь из числа прочей братии...

Словом, случаи такие происходили время от времени и можно только порадоваться, что находились те, кто молились за этих добрых, но потерявшихся на время людей, так что Господь, в конце концов, помогал им возвратиться на добрую дорогу спасения.

«Благодарите старца Амвросия!»



В бывших кельях скита обитали еще мирские люди со всеми вытекающими последствиями – с ошестинившимися антеннами на крышах, с сохнувшим бельем в палисадниках и... с глухим недовольством и ропотом, что вот, мол, жили себе, не тужили и вдруг появились какие-то монахи, так что весь быт нарушился. Словом, отношение со стороны этих «коренных» жителей к возрождению монастыря было во многих случаях недовольным и даже «бурчливым». Впрочем, кто-то быстро понял, что это все всерьез и надолго и, договорившись с администрацией монастыря, продал свое жилье и приобрел что-то соответствующее в другом месте, а кто-то уперся и решил стоять до последнего. Всякие люди были... И вот я в меру своего мелкого кругозора в этом вопросе наблюдал, как меняется настроение этих, последних.

Помню, был там один мужичок из местных, такой сердитый и замкнутый в себе, типичный бирюк. Я, как и прочие, встречался с ним периодически на разных дорожках и тропках возле монастыря. Поначалу он не здоровался и отмалчивался сердито даже в ответ на приветствие, потом как-то стал смотреть попроще, а потом я застрял с какой-то тележкой, грузеной уж не помню чем, в дорожной выбоине или на подъеме, и мужик этот мне помог. И с этого дня уже буркал что-то в ответ на приветствие, и в переводе с местного наречия это означало что-то вроде: «Доброго вам времени суток, милостивый государь!»



Преподобный Амвросий Оптинский

Но, как я уже сказал, местные жители все больше понимали, что изменения, происходящие в монастыре, необратимы и, оставляя бывшие монашеские кельи, выезжали. В этой связи я вспоминаю историю, которую нам рассказала комендант богадельни при паломнической трапезной. Была там на втором этаже, над кухней такая богадельня женская, для бабушек, и комендантом ее была пожилая, но весьма еще бойкая и здравомыслящая женщина с каким-то очень простым именем, а точнее отчеством, по которому все к ней и обращались. Вроде Кузьминичны. И вот Кузьминична эта рассказала удивительную историю.

Когда из бывшей келейки старца Амвросия в скиту выселили «гражданских», те оставили после себя страшный беспорядок и эконом монастыря обратился к Кузьминичне с просьбой организовать «сестер» для генеральной уборки. Причем управиться нужно было за один день.

Сказано – сделано. Утром отправились в скит. Пришел батюшка (имени его она так и не назвала), помолились коротенько и взялись за дело: выгребали, таскали мусор, мели, убрали, драили так, что только пыль стояла столбом. Но вот оказия, день пролетел незаметно, стало уже смеркаться, а в каком-то закутке дальнем, до которого только к вечеру добрались, как нарочно оказалась свалена целая гора хлама. Притом проводка оказалась нарушена, и света не было. Кто-то уже собрался бежать за свечами, но батюшка вдруг говорит:

– Давайте помолимся!

Встали все на колени. Спели тропарь, кондак преподобному, величание, и так как-то радостно, умильно у всех на душе стало, что даже прослезились бабоньки. Ладно... Какие-то еще молитвы батюшка по памяти почитал, а потом вдруг замолчал, но с колен не встает, а продолжает молиться про себя.

Десять минут прошло, пятнадцать, двадцать... Умиление потихонечку улеглось. У кого колени, у кого поясница ломит – сил нет. Стали бабоньки потихоньку клониться к земле, томятся, но смиряются, терпят. Молятся через силу, кто как может. А батюшка все молчит.

На дворе ночь, в хибарке – тьма.

Вдруг батюшка встает и говорит громко так, радостно:

– Ну с Богом, милые!

Бабоньки встрепенулись, глаза пооткрывали и ахнули! Вокруг тьма непроглядная, а они видят всё ясно, как днем! Всё, до малейшей малости!

Батюшка, умиленный такой, говорит: «Ну, благодарите старца Амвросия, что услышал наши молитвы... не оставил нас, грешных!..»

И вот, глазам не веря, охая и причитая, стали бабоньки перетаскивать весь этот хлам во двор, на мусорную кучу, и только когда ее подожгли... снова перестали видеть в темноте.

Еще об отце Илие



Я о батюшке уже говорил, но вот – память снова возвращает к этой теме. Вообще, отношение к старцу у большинства из нас было трепетным, благоговейным, но без фанатизма. Его искали, ждали встречи с ним, вынашивали в душе сокровенные и важные вопросы, чтобы принести их перед духовником, как перед Самим Богом и получить духовный ответ. Но это не значит, что к старцу относились как к какому-то прорицателю, скорее существовало полное и благоговейное доверие многих к отцу Илию и вера, что через него особенным образом действует Сам Господь. Да я и сейчас так думаю. Вообще можно сказать, что старцы, само старчество как явление на Руси – это особенный, утешительный дар Божественной благодати человеческой немощи, растерянности и скорби, а говоря шире – дар нашему многмятежному, но ищущему правду народу.

Когда я приехал в Оптину, отца Илию в монастыре не было и многие специально оставались на положении трудников, дожидаясь его. Я остался просто потому, что чувствовал – надо мне пожить в Оптиной, прийти в себя. И ждал, конечно, тоже встречи со старцем, вынашивал в душе свои вопросы, главный из которых – как жить дальше? Когда пронесся слух, что отец Илий появился уже в монастыре, но принимает пока только братию на откровение помыслов – все старались его как-то поймать во дворе, в лесу, в скиту, возле храма... Но мало кто знал, как старчик выглядит в реальности, и потому, завидев какого-нибудь благообразного седого монаха, многие спешили обратиться к кому-то из тех, кому уже посчастливилось пообщаться со старцем, с вопросом: это не отец Илий? Или, если рядом не было такого человека, то бросались под благословение с тайной надеждой, что это, может быть, отец Илий и это как-нибудь обнаружится. Довольно забавно это сейчас вспоминать, но все шло от искренности, от сердечной боли, мятежности и действительного желания обрести опору в жизни, получить разрешение от самых важных и тягостных порой раздумий и обстоятельств.

Удивительно, но я не могу сейчас отчетливо припомнить первую мою встречу со старцем. В памяти всплывает, скорее, не сам момент, а образ – согбенный, седовласый старчик – и радость, духовный трепет, благоговение от осознания встречи с ним. Потом уже помню исповедь и то, как старец, совершенно изможденный недосыпами и самим образом жизни схимонаха, обычному человеку почти неведомым и непонятным, – во время исповеди вдруг стучался головой об аналой, как мне думалось тогда – засыпая, а на деле, думаю, погружаясь в молитвенную «дрему», в которой удивительным образом мешалась немощь плоти и бодрость духа. Отчетливо мне запомнилось несколько встреч с отцом Илием.

Первая из них – когда в монастырь на мое имя неожиданно пришло мятежное, трудное для меня и даже мучительное письмо от одной девушки, с которой мы расстались перед самой моей поездкой в Оптину и которая знала, где я нахожусь. Это письмо меня ввергло в расте-

рянность, и я, не зная как мне поступать дальше, пошел к отцу Илию и просто дал ему прочитать это письмо с вопросом, что мне делать дальше. Отец Илий благословил на письмо не отвечать и молиться о разрешении этой непростой ситуации. И со временем действительно все устроилось...



Дмитрий Шишкин в юности

Чтобы рассказать о двух других встречах, мне нужно немного рассказать о моих оптинских товарищах.

Паша был мой земляк, симфероплец, и даже жил в соседнем районе, на Битаке. Мы с ним встречались иногда мимоходом на Симферопольском университетском стадионе с ироническим названием «Маракан». Он в то время был открыт для всех, и особенно под вечер сюда стекалась спортивная молодежь со всех окрестностей. Я большей частью «специализировался» по турничкам и брусьям, ну мог пробежать несколько кругов по дорожке, а Паша был фанат футбола. Во всяком случае, мы с ним именно на футбольном поле и виделись мельком несколько раз, гоня мяч. И вот я неожиданно встретил его в Оптиной. Изумился, конечно, тому, как тесен мир, перекинулся парой фраз и стал общаться по-приятельски и по-землячески более близко, чем с другими.

Как-то к нам потянулся с самого начала еще один паренек – Максим. Он был младше нас лет на пять. История его интересна. Он сам был родом из Грозного. Кажется, отец его был чеченец, а мать русская. Незадолго до начала первой чеченской кампании матери Максима явился (уж не помню во сне или наяву) отец Иоанн Журавский и сказал, чтобы семья уезжала из Чечни. И они уехали, поселились в поселке Чернь Тульской губернии. А оттуда, я уж не помню, какими судьбами, Максим добрался в Оптину. Позже мы втроем приехали из Оптиной в Крым, где нас в первое время так и называли полусхоту «оптинская братия»...

Итак, первая из отчетливо запомнившихся встреч с отцом Илием произошла где-то дней через десять по прибытии его в монастырь, когда ажиотаж несколько схлынул и со старцем стало возможно пообщаться. Обычно это происходило в храме после вечерней службы. А мы все тогда горели мечтой о монашестве и, естественно, нам хотелось узнать волю Божию в этом важном вопросе. И вот мы с Максимом договорились остаться после службы и поговорить с отцом Илием. Первым пошел Максим, через некоторое время вернулся с умиленным видом и сказал, что батюшка благословил его на монашество. Вдохновленный его примером, подошел и я. Немного рассказал о своей жизни, о своих грехах и проблемах, а потом прямо попросил благословение на монашество. Но вместо благословения, отец Илий поднялся с лавки, где мы

сидели, и направился к выходу из храма. Я поплелся за ним, как попрошайка. Помню, все шел, что-то говорил вдогонку о том, что хочу быть монахом и как же мне поступать, на что настраиваться. А отец Илий вышел уже во двор, шел по дорожке и отвечал что-то благостно-общее... Помню только: читай Евангелие, ходи в храм... Так и ушел, не благословив. Тогда я расстроился, но сейчас понимаю, что в этом и был Божий Промысл...

Второй эпизод тоже связан с Максимом. Мы с ним тогда работали в паломнической трапезной. Это уже была зима, стояли лютые морозы с метелью, а нам нужно было иногда со строительной тележкой идти через весь двор к погребу в северной части монастыря за картошкой. Ее нужно было сперва нагрести в ведра, затем носить и сыпать в тележку, а потом уже эту тележку тащить в паломническую кухню, которая была расположена перед южными, главными воротами монастыря. В условиях действительно лютого мороза и ветра, за неимением хороших рукавиц (были в наличии почему-то только совершенно дырявые и разорванные) – эти путешествия превращались в сущую муку.

К слову, с этим погребом, где хранилась монастырская картошка, произошел у нас однажды забавный случай. Вот так же мы притащились однажды с тележкой, с трудом отомкнули замерзший замок, зашли в хранилище и... обомлели. На заиндевевшей стене красовалось в человеческий рост изображение ангела. Изумленные, мы стояли и рассуждали: откуда оно могло здесь появиться. В конце концов, оставив тележку и ведра, мы отправились в братский корпус докладывать о «чуде». Но выяснилось, что кто-то из молодых монахов нарисовал этого ангела утром на заиндевевшей стене.

Итак, мы в очередной раз отправились с Максимом за картошкой, загрузили тележку и стали ее тянуть через весь монастырский двор – в то время выщербленный и бугристый, да еще и обледенелый. Это, к слову, и была самая мучительная часть послушания, потому что тележка была тяжелая, тащить ее было трудно, но главное – неимоверно болели на морозе пальцы, просто до слез... и вот, я помню, тянем мы эту тележку, выбиваясь из сил, мимо Введенского храма и вдруг оба в какой-то момент почувствовали, что тележка пошла легче. Еще легче. Мы переглянулись без слов и тут только заметили, что тележку нашу толкает... отец Илий. Конечно, мы бросили все и сами бросились под благословение, а отец Илий, благословив нас, вошел в храм. Все это произошло быстро, но как же легко, как радостно сделалось на душе! Как будто не было больше ни мороза, ни картошки, ни этих страшно болящих пальцев, а только радость и умиление с благодарностью.

Вообще, подводя итог и самого посещения Оптиной, и общения с его изумительными обитателями – паломниками, трудниками, монахами и духовниками, общения с отцом Илием, я хочу сказать главное: это общение действительно переменяло, преобразило жизнь не только мою, но и всей моей семьи. Я приехал в Оптину буквально спасаясь от гибели: не только духовной и нравственной, но уже и физически грозившей нашей семье, как это и бывает часто, когда человек или семья, общество приходит на грань своего бытия, испытывает какие-то крайние, драматические обстоятельства с тем, чтобы осознать необходимость перемены. Могу сказать, что эта перемена с нами произошла, и я за это безмерно благодарен Оптиной пустыни и лично отцу Илию, которого с тех пор моя семья почитает своим духовным отцом. И здесь, как это ни покажется странным, даже не столь важно, как часто мы видимся с отцом Илием и как часто спрашиваем его совета, но важно уже само то, что он нас духовно родил. Я не буду вдаваться в подробности, но скажу только, что тот кризис, который казался неразрешимым с точки зрения бытовых представлений и здравого смысла – этот кризис в нашей семье разрешился самым удивительным и непостижимым образом, и в нем так явственно чувствовались живая, действенная любовь Бога, участие духовных людей и молитвенное предстательство отца

Илия. И когда мне начинают рассказывать о том, что отец Илий на самом деле никакой не старец, а просто добрый смиренный монах, я молчу, потому что невозможно пересказать жизнь и поделиться неизгладимым опытом преображения, со всей очевидностью произошедшего по молитвам праведника.

Я же глубоко убежден, что та невероятно сложная, мучительная и критическая ситуация, в которой четверть века назад оказалась вся моя семья, разрешилась благополучно и, главное, духовно во многом благодаря молитвам и сострадательному сопереживанию отца Илия. За это ему глубокий поклон и благодарность от всех нас.

2017 г.

Крымские очерки



Возвращение красоты



Крымская земля... Колыбель православной Руси! С детства ты пленила меня своей неразгаданностью. словно там – за пределом моей маленькой памяти осталась какая-то тайна... прерванный разговор. И в тишине, затопившей безвременьем души, сохранилось лишь тонкое, едва уловимое благоухание запрещенной, отвергнутой красоты.

В тот день мы впервые всей семьей отправились в Бахчисарай, намереваясь посетить и его замечательные окрестности. День был великолепный. Я – тогда шестилетний мальчик, лишенный представления о Творце, – преисполнен был непосредственным, пылким восторгом познания Его мира. Небо, деревья, цветы, щебетание птиц и порхание бабочек – все доставляло мне радость и вовлекало в какой-то всеобщий, как мне казалось, ликующий хоровод.

Древний полуразрушенный монастырь с высеченными в толще скалы кельями, со стершимися ступенями и гулким пещерным храмом произвел на меня впечатление небывалое, отличное от всего и, может быть, впервые *надмирное*. Я чувствовал, что за всей этой живописной, торжественной красотой стоит, осеняя ее, иная, незримая, но явственная, глубокая *красота*. Никто не говорил мне о ней раньше, и потому открытие мое было тем более потрясающим в своей новизне.



Бахчисарайский Успенский монастырь в 1970 – е годы

С этого дня я, сначала интуитивно, а затем все более сознательно, стал искать повсюду, ловить душой отголоски этой взволновавшей меня таинственной красоты.

Прошло шестнадцать лет, и обстоятельства снова привели меня в Бахчисарайский Успенский скит. Но на этот раз я уже ждал этой встречи, искал ее сокрушенным сердцем, и имя красоты было у меня на устах. Я знал, что имя это – Божественная благодать!

2 февраля 1993 года, ближе к вечеру, прокладывая путь по девственно-чистому снегу, к бывшему настоятельскому дому подъехал УАЗик армейского образца. Кроме водителя и благочинного Бахчисарайского района отца Сергия, в автомобиле находились мы – «оптинская братия», как нас в шутку тогда называли. Мы – это Максим Доронин, Павел Ищук и я, ваш покорный слуга. В последний момент к нам в Бахчисарае присоединился еще паренек из Черноморска – Женя Кияев. «Оптинской братией» нас именовали вот почему: меньше чем за месяц до этого дня, а именно 12 января, мы втроем покинули с рекомендательными письмами стены благословенной Оптиной пустыни. Дело в том, что гостиница Иоанно-Предтеченского скита, где мы обитали, должна была подвергнуться реконструкции и большая часть ее насельников была распущена по домам. Я провел в монастыре четыре месяца, выполняя различные послушания, но оставаясь по сути только паломником. Таким же было положение Максима и Павла. Интересно, что с Пашкой мы в юности гоняли в футбол на одном поле, но познакомились и стали общаться только в Оптиной пустыни. Максим же был родом из Чечни, но семья его, предуведомленная чудесно отцом Иоанном Журавским, успела еще до начала войны переселиться в город Чернь Тульской области. Наслушавшись рассказов про Крым, по оставлении монастыря Максим изъявил желание отправиться с нами.

Так мы втроем и прибыли на прием к архиепископу Симферопольскому и Крымскому Лазарю. Вид у нас был одинаково затрапезный: старенькие фуфайки, подвязанные обрывками бельевой веревки; стоптанные «кирзачки», косматые бороденки – ну ни дать ни взять – бродяги с большой дороги. Впрочем, владыка принял нас довольно радушно и поначалу определил в Свято-Климентовский монастырь. Лишь потом, когда улажены были некоторые формальности, связанные с передачей Церкви Бахчисарайского Свято-Успенского скита, последовало благословение перебраться нам в бывший настоятельский дом.

Итак, в сумерках мы сгрузили торопливо матрасы, нехитрые наши пожитки прямо на снег и попрощались с отцом Сергием. Кажется, автомобиль имел какие-то неполадки и потому водитель спешил засветло спуститься по заснеженной, скользкой дороге. Пока мы прощались, Павел отправился в дом переговорить с хозяйкой, которая еще не успела выехать и должна была ввести нас в круг бытовых повседневных забот. И вот УАЗик наш укатил, а Пашка возвращается озадаченный и объявляет, что дом заперт, а на стук никто не отвечает. Мы посмотрели на трубу – дыма нет. Значит, хозяйка ушла давно и неизвестно, когда вернется. Вот так история. Что же делать?

Мы обошли дом, и оказалось, что «парадная» дверь со стороны сада открыта. За ней был темный, заваленный всякой рухлядью коридор, а от него вправо отходила холодная грязная комната с земляным полом, совершенно непригодная для жилья. Налево от того же коридора располагалась другая комнатка: поменьше и тоже холодная – потому что эта часть дома вообще не отапливалась, – но зато с полами и даже как будто сухая. Мы быстро повытаскивали из нее в коридор весь хлам, освободили, вымели каким-то огрызком веника и затащили внутрь наши матрасы и сумки. Преимущество этой комнаты было еще и в том, что она имела дверь, правда, разохшуюся и закрывающуюся с трудом. Но главным приобретением оказалась большая электрическая плитка, найденная на полу. Поскольку лампочек нигде не было, то единственным способом проверить наличие тока в сети оставалось – воткнуть оголенные концы

провода печки в розетку. И мы провели этот рискованный эксперимент. В первый момент – ничего, замыкания нет. Уже хорошо. Ждем, что дальше. И вдруг – вот так радость! – печка наша начинает нагреваться...

Воистину, как мало иногда бывает нужно для счастья! Мгновенно мы почувствовали себя уютно, как дома. За окном быстро темнело, а мы, устроившись на матрасах, ужинали с большим аппетитом и обсуждали оживленно перипетии минувшего дня.

Засыпая, я думал о том, какое необыкновенное знаменательное событие сегодня произошло. После семидесяти лет запустения возобновляется монастырская жизнь! И радостно и страшно мне было об этом думать. Я понимал, что бесы ополчатся против нашего начинания; понимал и ожидал всевозможных искушений, ужасных снов, коварных наветов и козней – чего угодно, но как водится, совсем не того, что позже произошло в действительности... И все-таки он настал – этот первый день неизбежного и светлого возрождения православной святыни на Крымской земле: Свято-Успенского монастыря!

Наутро хозяйка так и не появилась, равно как и к обеду, и я, спустившись в город, взял благословение у отца Сергия съездить домой в Симферополь.

Уже на следующий день, ближе к обеду я возвращался обратно. Автобус развернулся на «пяточке» возле «Школы мастеров». Я вышел и вдруг увидел... всю мою «братию» с какими-то корзинами, сумками в руках.

– Не понял. Куда это вы? – удивился я.

– Все, – отвечают. – Выселили нас со скита, идем на вокзал.

– Как? Что такое?!

– Да шутим, шутим... В магазин за покупками спускались, теперь обратно идем.

Автобусы тогда до Староселья уже не ходили из-за проблем с горючим, и весь путь от монастыря до магазина или до Свято-Никольского храма, где находился наш «штаб», приходилось совершать пешком. Я взял какую-то сумку с продуктами, и мы пошли не торопясь в монастырь, разговаривая на ходу.

Уже возле Староселья перед нами замаячили в отдалении две фигуры. Одна была в розовом плаще, и Паша, едва завидев ее, пошутил: «О, моя жена! Она такой же плащ носила...» Надо сказать, что Паша действительно был женат и даже имел ребенка, но этот гражданский брак распался. Каково же было наше удивление, когда фигуры, свернув, стали уже прямо подниматься к монастырю.

В то время развалины скита, привлекая толпы туристов летом, зимой превращались в довольно пустынный и заброшенный уголок. Естественно, нам любопытно было узнать, что привело сюда в самое бессезонье двух барышень? Однако никто из нас не хотел заговаривать первым и, возможно, мы, обогнав их, так и прошли бы мимо, но одна из девушек (они оказались примерно нашего возраста) обратилась с вопросом:

– Вы не в монастырь случайно идете?

– Да, в монастырь и даже не случайно.

– Как... – продолжала она, оглядывая нас, – а разве... разве он действующий?

– Теперь – да.

Девушки изумленно переглянулись.

– А нам сказали: тут развалины одни. Мы с экскурсией были в ханском дворце, ну и решили пройтись. А тут – вы... Дело в том, что мы верующие – паломницы из Одессы.

Конечно, мы пригласили девушек после осмотра пещер зайти к нам в настоятельский дом на чай. Между тем, достигнув обзорной площадки, они повернули направо и стали под-

ниматься по лестнице. Нам же оставалось только отворить перекошенную скрипучую калитку и войти в дом.

И вот я впервые оказался в жилой его части. Главная, большая комната вся была заставлена мебелью и вещами хозяйки (она принесла ключи накануне вечером, объяснила, как топить печь и снова ушла). Во второй располагались стол и кирпичная кухонная плита с духовкой, а в третьей, просторной и светлой, уже стояли четыре наши кровати. В углу до самого потолка возвышалась буржуйка, жарко натопленная и обогревающая великолепно все три комнаты.

Я опустил рассеянно на кровать и все пытался понять, что со мной происходит. Надо сказать, что появление девушек внесло в мои мысли сумбур. Конечно, все мы мечтали или, по крайней мере, помышляли в той или иной степени о монашестве, но в то же время не были связаны никакими обетами, и, понятно, что сама возможность семейной жизни не отвергалась никем из нас окончательно. Словом, все мы находились тогда на распутье, и в таком состоянии встреча с *православными* девушками не могла, конечно, не поколебать нашего зыбкого равновесия.

Я механически застилал постель, доставал и раскладывал вещи, а сам ловил то и дело себя на мысли: придут они или нет? Ловил и тут же начинал на себя сердиться. Но когда я услышал в прихожей их голоса – чего таить, это не грех – сердце мое забилося радостно. И все же я не мог забыть и ту иную, призывную *красоту*, которая владела моим сердцем всегда, даже в эту минуту.

Я взял флейту и вышел из дома.

Знакомый, казалось, до черточки мир преобразился вдруг со мной и во мне. Громады скал, неподвижные, отягощенные снегом ветви деревьев, бледное небо, сам воздух и свет – все это заговорило проникновенно и властно, и эта живая безмолвная речь наполнила меня благоговейным трепетом. В нем, однако, было такое блаженство, с которым не способны сравниться никакие земные восторги. Я слушал, онемевший и восхищенный, и понимал, что, может быть, слышу прикровенно те самые *«глаголы жизни вечной»*, к слышанию которых во всей полноте изначально призван был человек. Был... Странное чувство, печальное, но вместе с тем и отрадное в высшей степени, переполняло меня так, что хотелось почему-то плакать.

Я поднялся по лестнице в пещерный храм и заиграл протяжную грустную мелодию, казавшуюся мне выражением той любви, которую я испытывал к почивающей на этих святых местах благодати. Я играл мелодию, эхо разносило ее по заснеженному ущелью и далеко вниз, в интернате для душевнобольных, кто-то отзывался радостным умаленным воплем. Мне было жаль всех и себя самого за то, что я не могу вот так прямо сейчас взять и остаться навсегда в этой благодатной, утешающей красоте.

Когда я вернулся в дом, стол уже был накрыт. Сотворив молитву, мы приступили к трапезе. По одну сторону стола расположились мы, а по другую, напротив, – девушки. Одна из них – Вика – говорила без умолку, другая – Елена – сидела, склонив голову, прямо передо мной и все больше молчала. Я испытывал какое-то необыкновенное, странное чувство по отношению к этой девушке. В этом чувстве не было ничего не только плотского, но даже, я осмеливаюсь утверждать, и душевного. Это было мирное, покойное чувство *определенности*. Как будто передо мной сижу... я сам, и это было и будет всегда, так что не имеет смысла ни удивляться, ни говорить об этом. Сейчас я понимаю, что тогда за столом я, сам того не осознавая, спокойно и прямо смотрел в глаза вечности и того, что люди называют судьбой.

После трапезы девушки сразу засобирались в обратный путь, и ребята отправились их провожать до остановки автобуса, а я остался убирать со стола и мыть посуду.

Возвратившись, друзья мои устроили бурные дебаты, из которых я понял, что всем решительно понравилась Вика. «Но при чем же здесь Вика?» – думал я с изумлением, как будто только сейчас заметил, что девушек было две. И что значит «понравилась»? Я не испытывал

ничего похожего и тем не менее все было просто и ясно как день, и эта ясность позволила мне сказать через два месяца Лене: «Если у меня когда-нибудь будет жена, то это будешь ты!»

Но возвращусь в монастырь.

Настоятелем Успенского скита первоначально был назначен отец Нифонт. Впоследствии из-за этого назначения ему много пришлось пострадать и, кажется, даже побывать под запретом. Причина этих «гонений» кроется вот в чем. Отец Нифонт был монахом в миру. Тщедушный, субтильного телосложения, он тем не менее отличался твердостью убеждений, которые сложились в нем, несомненно, под влиянием духовного отца, схиархимандрита Зосимы (Сокура). Отец Нифонт – сам человек целомудренный и обязательный – всячески уклонялся от возложенного на него игуменства, прежде всего потому, что монастырь (а тем паче современный, находящийся на перекрестке множества интересов) не вправе даже именоваться монастырем, если он лишен серьезного духовного окормления. Проще говоря, монастырь, по словам отца Нифонта, начинается с опытного духовника и не иначе. Возложить же ответственность за наше духовное воспитание на себя отец Нифонт благоразумно отказывался. Ему самому на тот момент не исполнилось еще и тридцати лет. Все это привело к тому, что, в конце концов, когда в монастыре начались и были пресечены дисциплинарные беспорядки, отец Нифонт, по существу, не имевший к ним никакого отношения, должен был один за всех понести наказание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.